



Антонина
Медведская

Тихие ОМУТЫ

Антонина Медведская

Тихие омуты

«Инфра-Инженерия»

2006

Медведская А. Б.

Тихие омуты / А. Б. Медведская — «Инфра-Инженерия», 2006

От автора
Годы мои, годы! Пронеслись, промчались одичалыми табунами, по бездорожью большой жизни. Подумала: а не пора ли этим табунам в загон? Ведь копилка памяти переполнена и не дает душе покоя. Расскажи о своем многострадальном поколении, о своей эпохе. Экая сила народа осталась памятной на всю жизнь, а времечко то было не приведи Бог какое...

Содержание

Живи, знакомый мне народ!	6
«А кому как на роду написано...»	8
Часть I	14
1	14
2	18
3	21
4	23
5	27
6	29
7	31
8	34
9	36
10	41
11	43
12	51
13	54
14	56
15	62
16	68
17	76
18	79
19	84
20	87
Часть II	89
1	89
2	91
3	97
Часть III	100
1	100
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Антонина Медведская Тихие Омуты

Автор от всего сердца благодарит за финансовую поддержку в издании книги Валентина Михайловича Санько, депутата Законодательного Собрания Вологодской области



Автопортрет автора.

В оформлении книги использованы живописные и графические работы автора.

Живи, знакомый мне народ!

Уважаемый читатель!

Книга, которую, надеюсь, ты прочитаешь с захватывающим интересом, наверняка повергнет тебя в глубокие раздумья. Наверняка не однажды, а многожды встрепенется твое сердце, опаленное проникновенным, жгучим исповедальным словом писательницы. Антонина Бернардовна Медведская (в девичестве Шунейко) – человек редких душевных качеств, которого даже самые тяжелые испытания беспощадного двадцатого века, обуглив, но не испепелив души, не могли заставить свернуть с пути, обозначенного Судьбой. И теперь, когда ее настигла собственная Память, она, идя за табунами прожитых годов, каждым словом-слогом, равным ее собственной судьбе, утверждает-прорицает: Земной поклон тому, что было! Какая радость жить! Не теряйте, люди, ни при каких обстоятельствах, Ключи Жизни!

Внимательно, взыскующе всматривается писательница в проплывающие в ее памяти и высоким журавлиным клином, и светлыми лебедиными стаями, и голосистыми лесными птицами и хищными коршунами разные человеческие лица. Она сама – единокровная частица этого мира. «Это был мой век да еще кусок большой жизни. Это была моя эпоха со всеми бедами и напастями, со всем дурноправием в верхах и сатанинским, варварским и самым что ни на есть нарочитым истреблением народа, самого трудового, кормильца всех, кто жил в нашей необъятной империи – Союзе. Я была свидетелем этого действия и написала об этом в своей книге. Это моя жизнь, моя судьба.» Родники творчества А.Б. Медведской – в осмыслении святости как самого драгоценного дара Жизни, так и в постижении высоких нравственных устоев людей, которых рождает для счастья Матери и растит земля Отеческая.

«Тихие омуты» – лирико-биографический эпос. Палитра писательского слова то бесхитростно обыденна, просторечна, то пронзительно, до боли, трагична, но всегда стойко жизнеутверждающа. Саму писательницу с неистовой силой шемит-завораживает и тревожит негасимая любовь к земному и небесному. Необозримы и бездонны омуты жизни. О том и последний сказ – глава «Северное сияние», где повествуется о семье ссыльнопереселенцев, из четырнадцати членов которой спаслись – уцелели мать-героиня Ангела да сын – Алеша-тракторист. Завезли их в вологодскую лесную глухомань, когда уже летали-кружили белые мухи, и оставили на погибель неминуемую. Ни кола, ни двора, ни зернышка.«... всех своих одиннадцать сынков, поначалу малышей, а потом и старших, – сказывала Ангела журналистке «Вологодского лесника» Медведской, – я в ту лютую зиму похоронила. Под сосенками топором ямы вырубала... Да они все рядом, сосенки за гривой, будто так и надо было. Одиннадцать сынков и батя с ними. Каждому своя сосенка.»

Неисповедимы, трудны, запутаны пути-дороги российские. Каких только напастей не принял на себя народ российский в прошлом веке! И сама собой напрашивается параллель между судьбами героев «Тихого Дона» и героев «Тихих омутов». И в том и другом писательском подвижническом труде ярчайшая картина оптимистической трагедии.

Не поникла – не согнулась от пережитых личных бед сама писательница. Пришло, наконец, время достать из копилки памяти все неизбыточное, над чем оказалось бессильно могущество власть предержащих. И каждый, кто откроет книгу, прочтет ее с пользой для себя великой, будто отхлебнет глоток живой воды – правды, которая сделает его мудрее, мужественнее и чище. В книге, – заключает автор, – «все, о чем душа болела. На страницах – жизнь людей, моих героев. Я всех их помню до единого, будто только вчера расстались. Думаю, они не должны

обижаться, что устроила им новоселье: из копилки памяти – да на страницы книги. Живи, знакомый мне народ, не пропадай без вести, мое многострадальное поколение».

Да будет так! Живи и ты, книга, крепи Надежду и Веру людей! Да сойдет покой и мир на Землю Российскую!

Валерий Судаков, доктор педагогических наук, профессор, председатель комиссии по правам человека при губернаторе Вологодской области

«А кому как на роду написано...»

Антонине Бернардовне Медведской на роду было написано испытать до дна чашу страданий, выпавших на долю ее поколения. Детство совпало с гражданской войной, молодость – с Великой Отечественной. Оказавшись на оккупированной территории, она попала в лагерь. Увезли сначала в Германию, потом – во Францию. Благодаря содействию русского эмигранта Сергея Ивановича Колесникова и его жены Мадлен ей удалось бежать. Партизанила.

По окончании войны снова попала в лагерь. На сей раз в свой, проверочно-фильтрационный. К счастью, испытание оказалось недолгим. Через месяц Антонина Бернардовна вернулась в родную Белоруссию. Потом работала в Сибири. Сейчас живет в Вологде.

Искусство сопутствовало ей всю жизнь, но свое подлинное призвание распознала не сразу: художник-оформитель, журналист и, наконец, писатель. В 1985 году в Архангельске вышла ее первая книга «Дарёнки». Пропылилась она в разных редакциях 25 лет. Путь второй книги был короче – 3 года. *(Биографические данные А.Б.Медведской почерпнуты из писем, адресованных автору статьи.)*

Богатейший мир детской литературы советского периода имеет свои лакуны. Литература эта по преимуществу городская, и главным героем ее является мальчик. А.Медведская принадлежит к числу тех писателей, кто восполняет пробелы. Она изображает крестьянский мир. Главное действующее лицо ее произведений – девочка.

В повести «Дарёнки», предназначенной для дошкольников, писательница воссоздает основные элементы крестьянского быта (дом и баню, лес и родник, луг и поле), дает идеальный вариант взаимоотношений человека и природы.

Книга рассказов «Босиком по снегу» написана для младших школьников. Она повествует не только о светлых сторонах сельской жизни, но и о ее сложности и противоречивости. Природный мир вписан в историческое время. хаос постоянно вторгается в «избяной» космос и стремится погубить его, но маленький хозяин земли благодаря мудрым советчикам активно сопротивляется этому и восстанавливает деревенский «лад».

В 1992 году в альманахе «Сполохи» вышла новая повесть А.Медведской «Незабудки», в которой описывается время с 1924 по 1933 гг. Эта чрезвычайно сложная эпоха дана через биографию главной героини. Рассказ от первого лица способствует глубокому проникновению во внутренний мир девочки. Писательница избежала соблазна наделить главную героиню современным представлением об эпохе 20-30-х гг. Девочка-крестьянка оценивает исторические процессы «изнутри». Для нее свойственна фольклорная интерпретация реальных событий. Это вполне естественно. Ее детство прошло в деревне, отрочество – в рабочем поселке, где жили, в основном, бывшие крестьяне. Соучениками по Минской школе ФЗО были выпускники сельских школ.

Персонажи повести прибегают к фольклорному словарю еще и потому, что живут в атмосфере умалчивания. Страх и непонимание не позволяют называть вещи своими именами. Фольклорное мировосприятие определяет поэтику произведения. В повести звучат частушки и песни, пословицы и поговорки, передаются семейные предания и «слухи». Обращение к языческим и библейским персонажам отражает характерное для восточных славян двоеверие.

Описывая массовый голод и репрессии, писательница не объясняет, почему это произошло. Она изображает случившееся в свете народных эсхатологических представлений.

В народной словесности на будущую беду указывают предзнаменования или предчувствия. В повести эту функцию выполняют частушки тетки Алены. Несмотря на страстное желание учиться, Тоня едет в Кузьмино с тяжелым сердцем. В тарыхтении колес ей послышался голос Алены:

Дыбом встали, дыбом встали
Надо мною небеса,
Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса... (9)

«Наваждение», – так определила свое состояние девочка. Но через несколько лет стал ясен пророческий смысл частушки.

Случившееся предельно точно укладывается в формулу: «Грянула... лютая беда» (29). Все определения эпохи взяты персонажами повести из фольклорного словаря: «убийца-голод», «погибель людская», «страшная беда», «лихо», «черное кровавое буйство», «злодейство».

В это «лихое голодное время» (35) страной правят «гады» и «гадины». Как и фольклорные антагонисты, они внешне отвратительны: «носатые», «руки волосатые» (40), глаза, «будто оловянные шарики» (40) или «слюдяные» (47), «...С жиру лопаются... рыла наростили» (47).

Они завладели главным земным сокровищем – хлебом. Оппозиция «пир/голод» является центральной в прозе Медведской. Это соответствует духу народной традиции. Ибо «еда в древнейшей системе образов была неразрывно связана с трудом. Она завершала труд и борьбу, была и венцом и победой. Труд торжествовал в еде». (*Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С.305*)

Как ни скромно жили в поселке, но тем не менее дети устраивали летом пиры. Варили уху, приносили из дому хлеб, «испеченный... матерями в русских печах, ароматный и вкусный, пышный и румяный»... (29). Последний пир на берегу Ухли был в конце августа 1930 года. А через год Тониных друзей разогнал голод.

С беды, как известно, начинается действие в сказке. (*Пропи В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С.46*) Чтобы преодолеть ее, герою необходимо пройти через испытания. В их число входит испытание хлебом. То необходимо испечь для свекра каравай, то выполнить задание посложнее: за ночь поле вспахать и засеять, хлеб вырастить и убрать, муку смолоть и просфоры испечь.

В реалистическом произведении задания проще: надо отнести брату обед на торфоразработки и купить хлеб в городе. Но выполнить их труднее, поскольку нет рядом чудесных помощников.

Однажды незнакомец отнял у Тони узелок с едой. «С виду – леший. Будто он только-только выполз из грязных болот и стал столбом на моей дороге. Лицо, обросшее щетиной, глаза горят, как у нечистой силы, и вот-вот выкатятся из-под бровей» (36). Чтобы заполучить обед, он применил силу, будто «дурной сон» (37) напустил на девочку, еще и пригрозил; «...если кому вякнешь, не жить тебе. Задавлю и в Ухлю закину...» (37).

Но, невзирая на его угрозы, Тоня рассказала обо всем матери и вновь отправилась в путь с обедом для брата. Она не одолела врага, но победила в себе страх.

В город Тоня пошла с соседкой Варварой, чтобы поменять в «Торгсине» золото-серебро на хлеб. У Тониного отца и Варвары хранились семейные реликвии, с которыми они не хотели, да и, следуя логике народных поверий, не должны были расставаться.

У каждого заветного предмета была своя история. В юности Тонин отец пытался найти счастье в Америке. Но, промаявшись полгода без работы, отчаялся и решил броситься с моста. Именно в эту минуту судьба послала ему встречу с крестным отцом, разбогатевшим на чужбине.

Крестный спас парнишке жизнь, одел его с головы до ног, подарил «на сченстье!» серебряные часы «Павел Буре» и отправил хлопца на родину к больной матери.

Варвара, узнав об обращении правительства к народу помочь собрать деньги на станки, уже безвозмездно сдала одну памятную вещь – серебряный браслет, подаренный знатным баринном ее прабабке за красоту.

Но увидев волосатую руку приемщика, засомневалась. Не пойдет ли добро на пропой? Не наденет ли «гад какой» браслет «на белу ручку распоследней шлюхе»? (40). Затем измученная нуждой женщина решается на отчаянный поступок. «Понесу я завтра в этот проклятый «Торгсин» маменькин золотой крестик, пускай она мне простит тяжкий грех, ради девочек моих, ради ихнего отца Степана Матвейча» (41). Золотой крестик с распятием Христа мать, умирая, надела на шею дочери. Выпрашивая у Варвары крестик, мачеха и била ее, и морила голодом, и улещала, но девочка выстояла: сберегла материнский дар.

По народным поверьям предмет, подаренный умирающим, служит его наследнику защитой. Огромной силой обладает завещанный родителем крест. Благодаря ему Варвару охраняли силы небесные, а изображенные на браслете русалки символизировали покровительство низших мифологических существ.

Часы были подарены в Америке, крестик, считай, был подарком из могилы. В сказочной системе произведения эти дары выполняют функцию волшебных предметов из иного мира, из тридесятого государства. Именно они гарантируют своим обладателям вечное изобилие. (*Пропл В.Я. Указ. соч. С. 196–197*).

Безысходность ситуации подчеркивается приемом психологического параллелизма. Приняла Варвара трагическое решение, и в доме «повисла томительная тишина, нарушаемая единственным звуком – сердитым гудением осы, что глупо и настырно билась об оконное стекло. Тяжело поднялся с лавки отец и, поймав осу, выпустил ее в открытую дверь в сени – лети! Но оса через какой-то миг опять оказалась на кухне, и опять бьется о то же стекло.

– Вот так и человек! – сказал отец... посмотрел на часы в последний раз, подержал их в ладонях» (41–43) и расстался с ними навсегда.

Свое добро Тоня и Варвара даже на хлеб не выменяли. Обманули их продавщицы из «Торгсина». Не случайно, увидев их, Тоня вспомнила персонажей из пушкинской сказки: ткачиху с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой...» Эти гадины проклятущие высеяли отруби до единой мучной пылинки... Себе забрали мучицу, а за добро, от сердца с кровью оторванное, дали пустые скорлупки» (48).

«За что?» – вновь звучит вопрос в повести. Обращение Варвары к Господу является кульминацией произведения и напоминает сцену из Апокалипсиса.

«Варвара упала на колени и, не мигая, глядела на далекий горизонт. Губы ее посинели, глаза – будто стеклянные, в них пылал отблеск закатного солнца, и вся она стала похожа на каменную статую с руками, протянутыми в сторону огненного диска, застывшего над кромкой земли. Тяжелый хрип, как у раненой волчицы, вырвался из ее груди, и она отчаянно закричала на пустынной опушке леса:

– Господи-и-и! Да есть ли ты где? Что ж ты смотришь на подлость, творимую человеком над человеком, и не караешь страшным судом зло на Земле? За что ж нам жизнь такая? За что? За что? И где ж он, тот Сталин, вождь наш и отец, и как до него достучаться, дотянуться?» (48).

Вопрос остается без ответа, добро – без воздаяния, преступление – без наказания...

Большинство людей полагается на судьбу: «А кому как на роду написано – так и будет!». Так, вспоминая древнюю поговорку, объясняют они абсурдность происходящего. Именно эти слова были вынесены в заглавие при первой публикации этой главы. (*Медведская А. А кому как на роду написано... //Мария. Литературный альманах. Петрозаводск, 1990. С. 106–115.*) Они определяют логику массового поведения: что будет – то будет, пока жив – «надо живому как-то жить и надеяться, авось пронесет, авось и голод не одолеет» (36).

Варвара не из тех, кто надеется «на авось». Она постоянно действует. Пытается спасти семью и страну. Подобно фольклорному герою-правдоискателю, она хочет донести слово правды до правителя.

В народном сознании образ Сталина идентифицируется с образом «народного избавителя» (*Маркова Е. Вина и вера //Мария. Указ. соч. С. 235–248*), от которого скрывают истин-

ное положение дел помощники-изменники. Репрессивная машина уничтожила многих руководителей. Один из районных бюрократов, описанный в повести, тоже впал в немилость, был арестован, бежал. Чтобы выжить, отбирал хлеб у прохожих. Это он («человек-леший») напугал Тоню. Люди справедливо считали таких начальников «врагами народа» и полагали, что именно они окружают вождя и дают ему ложные советы.

«Рассказывают люди, что пишут Сталину со всех концов нашего государства большого, просят помощи, защиты, справедливости, да только все эти письма не допускают до Сталина, нет им пути-дороги в Кремль. Цепными собаками встали враги народа у Кремлевских ворот и сничтожают конвертики с болью нашей и горючими слезами, с муками человеческими. На кострах горят мешки с нашими письмами» (46).

Вот эту стену Варвара решила пробить, это адское пламя загасить. Поэтому прежде, чем пойти в «Торгсин», отправила Сталину заказное письмо от несчастных матерей. Она прошла через все испытания. Даже путь в город и обратно эквивалентен фольклорному. Они идут с Тоней по песчаной дороге, затем по лесу («через пески сыпучие, через леса дремучие»). Но волшебными дорогами овладели антагонисты. Поэтому вместо изобилия – пустые скорлупки, вместо свободы – смерть и неволя. Варьку и ее мужа арестовали и увезли неизвестно куда. Старшую дочь Веру определили в детдом, младшая умирает от голода.

Все действия героини получают обратный результат. Во времена антихристовы сказка превращается в повесть о Горе-Злосчастии. «Бывает так в жизни: прицепится к иному беда и никак от нее не отбиться» (54). Не отбились от нее Варвара и многие-многие ее земляки. Либо сгинули в чужих краях, либо уснули вечным сном на местном кладбище.

Тоне в числе немногих удалось вырваться из лап смерти. Возможно, ей на роду было написано выжить... Возможно, потому что является хранительницей родовой памяти. Приемщик забрал только серебряные крышки от часов, а сломанный механизм вернул девочке со словами: «Сохрани на память...» (46). Как ни велик соблазн, ничего не продает она в Минске. «Ценных» вещей у нее всего три: свой сатиновый костюмишко, бабушкино полотенце с вышивкой и подушка. «Мама, когда ее укладывала в чемодан, говорила: «Береги подушку, это тебе материнская память. Голову прислонишь – маму вспомнишь. А будет так, что и поплачешь в подушечку, тогда сердцу легче станет, она твою боль утишит...» (63).

Выжила Тоня, потому что от горя и страданий не очерствела ее душа. Верно ей сказала Дуська-могильщица: «Жизнь наша горькая. Она ой как человека прошибает. И случается, самую что ни на есть ангельскую душу опалит, обуглит, как огонь головешку» (67).

В сакральном контексте произведения через биографию Тони реализуется христианская идея спасения души. Не случайно Варвара называет Тоню «душа-девица».

Девочка, разумеется, не в силах ликвидировать беду. Но она помогает всем и делом, и словом. Она утешает измученную мать, успокаивает отчаявшуюся Варвару: «Тетенька Варенька, не плачьте, не горюйте так. Все переживем, вот увидите – переживем!.. А эти отруби надо будет высушить в печке покрепче да и истолочь в ступе так, чтобы из них мука получилась, тогда и они пойдут в дело...» (49).

В городе Тоня не только во всем помогает старшей сестре, но и ухаживает за дочкой Дуськи-могильщицы. Уходя на работу, та оставляет девочку на крыльце и привязывает веревкой. Тоня и ее племянник Егорка освобождают от плена голодную, грязную, всю облепленную мухами Динку. Тоня моет ее, стирает платяишко, делит с ней свою скудную пищу.

Направляясь в школу ФЗО, что находится «у черта на куличках», она, действительно, попадает в пространство дьявола. Замечает самое большое здание, «опрятное, белоснежное» (68) с часовым у ворот. Через железные решетки подвальных окон видит «изможденные, почерневшие лица в клубах зловонного пара, их глаза, в которых – отчаяние, и невыносимое страдание» (69).

Теперь ее очередь задавать вопрос Господу: «Господи Боже мой, за что же их вот так бесчеловечно набили в подвалы и мучают? Что они натворили? В чем их вина?» (69). Не получив от Господа ответа, Тоня, несмотря на юный возраст, не верит в приговор властей, не считает этих людей врагами народа. Хотя в любую минуту может и сама оказаться в подвале, она не покоряется дьяволу и не приспособливается к его законам. А таких, мечтающих выжить любой ценой, было немало: отрекся от раскулаченных родителей Гаврила Кулик, стала любовницей инженера Дятла Тонина подруга Валька Богданова. Если Гаврила приходит к страшному решению, намыкавшись и намаявшись, то Валька следует холодному расчету. Не продашь душу и тело – вернешься в голодную деревню и погибнешь.

В фольклорном пространстве произведения образ Тони идентифицируется сначала с образом девочки-семилетки, а затем красной девицы, за любовь которой борются истинный рыцарь и ложный герой, с глазами «колючими и пронизывающими» (75).

Вначале инженер Дятел (ложный герой) сделал подобное предложение Тоне. Но она, колеблясь, выбрала трудную судьбу сельского монтера. Уезжала девушка из Минска с грустью на сердце. Не польстилась на посулы инженера, но и невестой влюбленного в нее и дорогого ее сердцу Димы Клепко не стала. Дьявол разлучил влюбленных.

Еще дома на Ухле Тоня и ее подружки любили гадать: плели из незабудок венки и бросали в воду: «Плыви, мой венок, к суженому-ряженому, принцу заморскому...». Но не тут-то было: наши венки не желали плыть ни к каким заморским принцам, а прибивались к берегу и оказывались у наших босых ног» (27). Действительно, не нужны были девчонкам заморские принцы. Их принцы были рядом. Но не довелось им надеть на головы свадебные венки. Охапки незабудок украсили их могилы.

Когда Дима Клепко обратил на Тонию внимание, у нее «перехватило дыхание от радости» (73). Несмотря ни на что, девушке хочется жить, любить... Поэтому с увлечением она танцует на своем первом балу, на миг забывая обо всем: «...о толпах истощенных людей, сорванных бедой с родных мест... о Дуське-могильнице... бедолагах, которых она хоронила на кладбище. Кто они, откуда родом, куда шли? Этого уже никто никогда не узнает... О странных подвалах. Забыла об этом, словно и не было такого в жизни» (76).

Однако полностью забыться не удалось. Тоня настолько срослась с бедой, что для чтения на сцене выбрала не излюбленное девицами счастливых времен «письмо Татьяны», а строки про «чудный сон», который предсказал пушкинской героине несчастную женскую судьбу. Прочитав его на своем первом балу, Тоня будто накликала на себя беду. Придавило ее рыцаря телеграфным столбом. Только память добрая осталась да украшения из цветной проволоки. Сам смастерил и подарил любимой перстень и браслет.

Пророческим оказался смысл и другой частушки тетки Алены.

Ее ни с того ни с сего вспомнила девочка, уезжая из Бабаедова. Голос Алены чудится юной девушке при отъезде из Минска:

Ходит по полю ворона,
Ходит, озирается.
Где-то счастье мое бродит,
Мне не попадается... (8,84).

Кольцевая композиция произведения будто замыкает круг несчастий. Из беды не вырваться, антисказка никогда не станет сказкой.

Но Тонина доброта приручает людей. Когда уже пошел поезд, «метеором влетает на перрон Егорка... Он нагоняет вагон, бросает букет жасмина» (84) и кричит вдогонку, что ждет ее через два года в Минске.

В страшную годину Тоня подтвердила свое прозвище – «душа-девица» (80). У нее, действительно, живая, «истерзанная незатихающей болью» (80) душа. Благодаря ей она выдержала одно из самых значимых сказочных испытаний – испытание сном (беспамятством). (*Пропн В.Я. Указ. соч. С. 80–82*). Именно это испытание оказалось не по силам многим. Одни все позабыли, потому что устали страдать, другие – чтобы не мучили укоры совести. Страна превратилась в сплошное кладбище. А «нигде не растут так ошалело полынь да лебеда, как на заброшенных подворьях и на могилах. Недаром говорят в народе: «Что было, то былем поросло!» (81).

Нравственная победа героини служит залогом того, что роду человеческому – жить и сказке народной – быть...

*Елена Маркова, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
ИЯЛЧ КАРМЦ РАН, г. Петрозаводск*

Часть I

Бабаедовский рай

Ни один человек не мог рассказать, как живётся душам, достойным обитать в небесном раю. А есть ли райские уголки на земле для еще живых? «Есть, но не про нашу честь!» «Но случается, кому-то повезёт». Они неожиданно-негаданно окажутся в раю на нашей грешной земле. Случается!

Это было давно. Отца, первоклассного садовника, пригласил на работу пан Ростковский. На рассвете, когда пан ещё спал, отец осмотрел огромный сад. Бродил меж деревьев и цветников сада часа два. Вернулся в домик, где мы будем жить, и, радуясь, сказал:

– Анюта! Дети! Мы попали в рай на земле...

1

На рассвете из пятинедельного вояжа вернулся в свое имение хозяин, помещик Стефан Баранский. И не один. Пан Стефан и его гость сошли с добротной брички, и кучер, прозванный Коньком-горбунком, направил усталых лошадей к конюшне.

– Хорошо ли съездили, пан Стефан, добро ли гостилось? – спросил, устало улыбаясь, управляющий поместьем Николай Ивинский.

– Еще как...

Выкатилось весеннее солнышко, брызнуло розовым сполохом на аккуратно подстриженную бороду и на всю его подтянутую фигуру с выправкой в прошлом кадрового офицера.

– Письмо мое получил?

– Получил, пан Стефан.

– Все выполнил, как просил тебя?

– Все до кропли. Флигель не узнаете: капитальный ремонт, новая мебель. Уют и красота. И флигель, и беседка сияют, будто бриллианты в запустении сада.

– Запустению – конец. Привез специалиста, можно сказать, насильно забрал у графа Чапского. Он намерен свое поместье продать, с долгами расплатиться и укатить в Скандинавию, в сосновую избенку – замаливать свои грехи. Это Бернارد Шунейко, садовник.

– А я подумал – художник или музыкант.

– А он, этот садовник, и то, и другое, только в своем деле. Я, как увидел, что он у графа Чапского натворил, обезумел.

– Ты, Николая, видел когда-нибудь черные розы? И никогда бы не увидел, не привези вот этого уникама. Ты видишь зеленый ящик? В нем корни черных роз. Распорядись, Николая, чтоб вещи пана Шунейко отнесли во флигель, а ящик – в беседку.

Пока мужчины вели беседу, их с интересом разглядывали из окна повариха Евдокия и Эвелина-дурочка, племянница помещика Баранского.

– Эвелинка! Сообрази, кто этот красавчик в бархатной толстовке, что приехал с хозяином?

– Можя, дохтур?

– Не-а, дохтуры очки на нос цепляют и бородатые, а етот... Тыфу на тебя, чуть яишню не спалила.

– Ой, мамочка! Хочу – скачу, хочу – не-е, горелица у кишине.

– Эвелина по-воробыному поскакала, продолжая петь: «Хочу – скачу, хочу – не-е...» Евдокия замахнулась на Эвелину рушником:

– Уймись! Иди приглашай дядю Стефана и его гостя к завтраку.

– Ой, мамочка родная! Не пойду – осрамлюсь... – и Эвелина ускакала прочь из кухни.

– И за что Господь обидел это несчастное дите? – Евдокия перекрестила свой согрешивший рот, но тут же подумала: «И на что мне, Господь, два фунта голимого жира под бородою...»

– и вновь заговорила вслух:

– Ну вот же у Ивинского неросло сало под бородой, у Стефана Баранского, может, какая где шишковина и выросла, дак не на виду, – она оглядела стол – все, вроде бы, ладно: красуется разваляй с налимом, скворчит яичница с ветчиной, на большом блюде отварная картошка, посыпанная укропом, малосольные огурцы под смородиновым листом, отварная телятина, нашпигованная чесноком. Батарея наливок и настоек, на какие была большим специалистом Евдокия, а уж о яблочном сидре и говорить не приходится: вкус, запах – не уступят шампанскому. Как она этак творит – секрет поварихи.

– Все! – сказала Евдокия вслух. – Завтрак для панства-крулевства готов. Упивайтесь, нажирайтесь – все к вашим услугам. Пойду с поклоном приглашать откусать... – совсем недавно Евдокия стала разговаривать сама с собой. Как-то Николай Ивинский случайно услышал ее бормотание, спросил:

– Ты с кем это беседы ведешь, Евдокия?

– А сама с собой, все веселее на душе, – повариха подавила зевок, – скорей бы приехал Тимофей Иванович с гуты.

Шла третья весна пребывания садовника Шунейко у пана Стефана Баранского. Старый сад было не узнать: появился и свой питомник, к нему у садовника особая страсть, как и к созданным им черным розам. В это лето он с нетерпением ждал появления волшебниц – черных роз. У садовника загадочное настроение. Он улыбается, касаясь рукой головок цветов на клумбах. «Что это было со мной – явь или сон?..»

А было вот что. Полдень. Усталый садовник освежил себя холодной водой из колодца, умыв лицо и руки, вошел во флигель и растянулся на роскошной софе.

Он спал. И надо же было случиться такому – в раскрытую дверь влетела оса. Она кружилась над его лицом, выбирая место для посадки. Садовник вскинул руку – сейчас получишь, назола! – и тут рука его, обессилев, упала на то место, где сердце отстукивало секунды. Никакой осы нет, а кружилась над садовником бабочка-лимонница – живой цветок. Опустилась на руку, поиграла крылышками в такт биению сердца, вспорхнула, и вот она уже на губах мужчины. Ее прикосновение было таким нежным и сладостным, что с губ спящего сполз тихий стон. Ему не хотелось открывать глаза – продлись, волшебный сон! Но вот опять загадка: незнакомый аромат. Он как злой дух проникает в сознание полусонного, и садовник мучительно пытается вспомнить, где и когда этот сатанинский запах кружил его голову до умопомрачения. Вспомнил! – Ирина, французские духи. Не может быть, я не хочу ее видеть. Глаза... Чудеса да и только. Перед ним в плетеном из лозы кресле сидела совсем юная девушка, и была она так красива, так живописна и так неожиданна. «Однако... – подумал садовник, – кто она?»

– Можете продолжать свой отдых. Я сейчас уйду. Меня зовут Юлией. И я ваша ближайшая соседка. Поместье моего отца Ивана Чмыха, конезаводчика, и сад вашего пана Баранского разделяет березовая роща с вороньим граем и ручьем Говорунчиком. Это я дала ему такое прозвище. Нравится? «Господи! Как она красива. Зеленые глаза русалки, пронзительный взгляд, золотистые локоны на обнаженном плечике с кожей цвета топленого молока. И роща, и ручей...» А птицы так хорошо поют. Заслушалась и не заметила, как оказалась на чужой территории. Мне стало любопытно. Иду дальше и вдруг – терем-теремок. Захотелось посмотреть, кто же в этом тереме живет...

Садовник, как молнией пораженный, вскочил со своей софы, хотел сказать что-то нужное, доброе в таком неординарном случае, но язык прирос к гортани. Стоит перед красавицей истукан-истуканом. «Кокетливая соломенная шляпка. Бабочка-лимонница. И французские духи, их бесовская сила... А мои губы, она коснулась их своими – коснулась! А сейчас как ни в чем не бывало сидит и рассказывает. И голос у нее сладкогласой сирены».

– Прошла наш старый сад, рошу, перебралась через ручей... Чужая территория. Любопытно. Иду и вдруг – терем-теремок. Захожу и что вижу: на роскошной софе спит богатырским сном прекрасный рыцарь. А я устала, присела в это кресло, смотрю на вас, отдыхаю. Знаете, мы, конезаводчики, – народ грубоватый. Вы, Бернард, сын опального потомственного дворянина, а потому вынуждены работать садовником у шляхтича Баранского. Не обижайтесь, вы это поймете – все будет наоборот, весна да и только.

– До свидания, пан садовник. Эскузе муа.

И ушла в своем белом с кружевами платье, и растворилась в кипени цветущего сада. А садовник смотрел ей вслед и думал: «Может, это был мираж?..» Закрыв глаза. Кольца золотистых кудрей на полубоженном плечике, смешинка на губах, и глаза... «Боже мой, да у нее глаза русалки. Зеленый омут. Затянут, погубят. Чур меня, чур меня...»

Заклинание не помогло. Через три дня после посещения флигеля садовника, Юлия, как привидение, появилась вновь. Она поздоровалась и произнесла:

– Господи! Как у вас хорошо. Цветы, цветы. И какой-то особый мир, будто обиталище добрых духов и... ангелов.

– Я счастлив, что вам здесь нравится, – обрел дар речи садовник, – ангелов до вашего появления не было...

– О пан садовник, я не могу быть ангелом. Я – грешница. И у меня сегодня день рождения. Сделайте подарок для грешного ангела – букет ваших дивных цветов.

И она, окунув лицо в прохладу тюльпанов, нарциссов, крокусов и огненных жарков, посверлила свою жертву омутами русалочьих глаз, унесла букет, а с ним и душу садовника.

Юлия пришла к нему во флигель через несколько дней. Садовник ждал ее прихода и опасался, чувствуя, что добром это не кончится. И все же ждал, жаждал ее прихода, не обольщаясь желанными надеждами. И вот опять она в двух шагах от него... Боже, как красива, как романтична в одежде, по-весеннему воздушной.

Где-то далеко-далеко, за невидимым горизонтом исчезало солнце.

– Как неуютно и скучно у моего папаша: сено, овес, быки, коровы, овцы, свиньи... Отвратительный запах дегтя и навоза, хотя живность находится и далеко от дома. Но мухи... Тоска.

– Это жизнь вашего папы, Юлия.

– Но это не моя жизнь. Не моя! Я увлекаюсь музыкой, поэзией, пишу стихи. Вот послушайте:

Люди, вы – звезды
Туманные, ясные.
Живу вместе с вами,
И это прекрасно!

Нравится?

– Мне все, синьора, нравится, что с ваших уст срывается.

– Однако, садовник не прост. Я много о вас знаю, вы – сын потомственного дворянина, селекционер, автор черных роз. Это правда?

– Возможно. Но есть такая мысль: когда о человеке много знаешь, он становится неинтересным.

– Значит, я для вас должна быть интересной, вы обо мне ничего не знаете. Когда раскроются бутоны черных роз, вы подарите мне три цветка. Один будет моим, второй – маме, а третий – судьбе.

– Я провожу вас, панна Юлия. Темнеет.

– А я, пан садовник, не хочу уходить, – она открыла дверь в терем-теремок...

В августе Юлия уехала в большой город. Она увезла с собой три черные розы редкостной красоты и воспоминания – как еще одну сказку о любви.

А что же садовник? А садовник, пан Шунейко, не хотел больше жить. Его обуяла лютая тоска. Он отрешенно бродил по саду, пинал носками сапог ни чем не повинные яблоки. Он все чаще стал присматриваться к старым яблоням, выбирал сук. «Закинуть бы на него веревку с петлей и – конец мукам...» Куда девался тот франтоватый красавец, всем довольный в своей жизни? Нет его больше, будто молнией опаленный ясень. Отросли борода с усами. Полное запустение в тереме, где остался стойкий аромат французских духов. Нет больше Юлии, нет! Она ушла из жизни садовника, как сон. А он все еще не может избавиться от этого дивного сна. И потому гибнет.

2

Но Бог решил его судьбу иначе: племянница пана Баранского, дурочка Эвелина, разыскала садовника у березовой рощицы. Он лежал на копне опавших листьев, смотрел в синь небесную и мысленно звал свою шальную любовь Юленьку. И тут как издевка, как карканье вороны – грубоватый голос Эвелины:

– Пан Шунейка! Дядя вас клича до покоев. Приехал с гуты его знакомый, стеклянные цацки привез, – и она ускакала со своей песней, подаренной ей неласковой судьбой:

Хочу – скачу,
Хочу – не-е,
Горелица у кишине.
Прохудился кишинек,
Потерялся кошелек.

Садовник сполз по увядающим листьям на землю, оставив грабли на копне, и медленно побрел к покоям Баранского. Впереди дикой козой скакала Эвелина, продолжая петь. Наступала грустная пора, «очей очарованье». Но садовника уже ничто не могло очаровать. Он шел в покои пана Баранского и соображал: «Зачем позвал? И зачем мне какие-то стекляшки-цацки?» Но когда он увидел расставленные на полированной поверхности длинного обеденного стола эти «цацки», у него по спине пробежал холодок. Лебединые стаи, брачные танцы журавлей, тройка лошадей, летящая над заиндевелыми берегами. А петухи-то, петухи – один другого краше, но какие драчуны!

Садовник молча рассматривал все это диво дивное, затем протянул руку и выудил коня. Взыбленный гривастый красавец стоял на самой вершине ледяной скалы. Внизу – пропасть, позади – волчья стая. Как же был красив этот золотистый конь с темно-медными гривой и хвостом! «Такого коня не должны сожрать волки. Гордый, красивый конь в последний раз втянет ноздрями глоток ветра и в последний раз совершит прыжок со скалы в пропасть, в небытие», – так подумал о судьбе чудо-гнедого садовник.

– Если продаете, я куплю его.

– Покупайте. Я и привез эти диковинки для продажи и обмена на продукты. Вот пан Баранский мне и поможет. Устроит веселые торги. Мы с ним давние знакомые по таким делам.

– А кто сотворил этого коня?

– Коня? Того мастера уже три года, как похоронили. Воспаление легких. У стеклодувов легкие ослаблены, они же все время дуют в железные трубки, вырабатывают банки, стаканы, стопки, аптечную мелочь. А уж что говорить о хрустальщиках – фокусники, колдуны. Вот и коня смастерил Трофим Курсаков. Эти «цацки» он называл баловством. Серьезный мастер был. Его хрустальные вазы и теперь украшают салоны богатых иностранцев. Жить бы да жить, а он лег в землю, оставил двадцатидвухлетнюю вдову. Четвертого сына родила уже после смерти мужа. Вот и бьется, бедняжка. Старшую девочку забрала бабушка в Сызрань, трое – при ней. А какая красавица, косы ниже пояса. А лицо – глаз не отвести. Если б мне не под шестьдесят, а хотя бы на двадцатку поменьше, на коленях бы при всем честном народе руки ее золотой попросил бы и клятву бы дал растить детей ее, как своих родных. А только... Не раскрывай роток – не твой глоток. Она принесла этого коня, когда я уже отъезжал: «Продай этого коня, душу он мою замучил. Когда мой принес его с гуты, говорит: «Анютка! Этот конь – я!» Продай ты его, хоть что-нибудь куплю, порадуя детей». А знаешь что, садовник, – Тимофей Иванович воровато оглянулся, – бросай ты этого жирного борова Баранского и поедем со мной в поселок к рабочим. Ты бы их научил сады сажать, им там плохо без фруктов. Вот бы доброе дело

сотворил. Ты только командуй, учи, да саженцев раздобудь. А то из своих запасов у Баранского захвати для начала. Я ж с фургоном, увезем. И скарб твой прихватим. Подумай, какое божеское дело сотворишь. Придет человек из ада гуты, распахнет оконце, а за ним яблоньки в цвету, а там и яблочки со сливами, вишнями. Тут тебе и антоновка, и пепенка, и белый налив, и великан апорт – радость-то какая, благодать безмерная для людей с опаленными легкими.

– А сколько времени понадобится, чтоб стать мастером-хрустальщиком?

– Вся жизнь понадобится. Вот Трофим Анюткин мечтал сотворить царь-вазу, всю увитую лилиями – не успел. . .

Тимофей Иванович закурил. Во дворе Эвелина ловила кур, шупала, и которая с яйцом, закидывала в сараюшку с сеном, чтоб не неслись где попало. Баранский уехал на бричке с визитами к соседям, повариха Евдокия, дородная баба с отвислым жирным подбородком, и две приглашенные помощницы орудовали на кухне – пекли, жарили, парили, варили, распространяя вожделенные запахи по всему поместью Баранского. Сегодня вечером пан Баранский устраивает веселый аукцион, будут продаваться стеклянные цапки по цене – кто больше. Торги всегда шли с шутками, прибаутками, иной раз такими, что впору уши затыкать, но поскольку компания была только мужская, то уши никто не затыкал, а за каждую похабщину штрафовали – заставляли осушить квартиру медовухи. Стол ломился от обилия разных пирогов: развальяев с рыбой, мясом, грибами, капустой, горохом. Блюда с запеченными в тесте окорочками, а уж сладких пирогов – не счесть. Евдокия не уступала в поварском деле никаким городским шеф-поварам. Иной раз подвыпивший Баранский говорил поварихе:

– Кабы ты, Евдокия, была бы не такая мясистая, я бы тебя в спальню пригласил.

– Так пригласи, пан. Попробуем, может, сладится. . .

– Не-е, не сладится. Я как гляну на твой подбородок, ну, чисто жирный налим, так сразу ж пас, пшик. Царствуй на кухне, а в спальню тебе хода нет.

Евдокия не обижалась на панову откровенность. «Подумаешь, евнух вяленый. На кой пим мне твоя спальня, твой конюх, Конек-горбунок – вот это мужик. И слова его праведные: «Ты, Дуняшка, царь-баба. Слаще тебя я не знал. Есть где согрешить с холода-мороза». А то – тьфу, спальня пузача усатого».

Застолье с торгами заканчивалось, когда светало. Гости разъезжались хмельные, усталые, но довольные. Отвели душеньки свои, попили-поели вволюшку. Позубоскалили до одури. И увозят своим женам и дочерям диковинные подарки. Баранский свалился на веранде, распластавшись на широкой софе, и через минуту задавал такого храпака, что его два длинных уса подскакивали кузнечиками, на влажные губы то и дело присаживались по очереди две запоздалые мухи – осень, а им все нет покоя.

Садовник выкопал около сотни саженцев-годовичков, несколько корешков флоксов, своих любимых цветов, сложил в сумку пакеты семян астр, хризантем, кое-какие садовые инструменты и еще кое-что по мелочи, что могло пригодиться там, где не было не только плодовых деревьев, но и цветов под окнами, за исключением чахлах кустиков сирени да желтых «лисьих хвостиков», кое-где уцелевших. Фургон загрузили до предела. Евдокия вынесла две плетенки из лозы, наполненные яствами со стола, да еще и по доброму куску соленого сала с чесноком и тмином.

– Вот вам по корзине на дорожку. Путь не близкий.

– Спасибо тебе, Дуня, добрая душа, – поклонился Тимофей Иванович. А садовник обнял ее, как родную.

– Без вас, тетя Дуня, туго мне придется. Кто мне таких вкусных драников со шкварками принесет, вареников с вишнями.

Евдокия заплакала, повернулась спиной и, втянув голову в широкие плечи, пошла в покои порядок наводить, на помощниц покрикивать. Со стороны отхожего места послышался громкий осуждающий голос Эвелины:

– Ну, паны, ну, каркадилы, понагадили хуже свиной перед забоем, не продохнуть от говна, чтоб на них трасца с хворобой, – она лила из ведра воду и орудовала метлой, – мамочка родная, хочу – скачу, хочу – не-е, горелица у кишине. . .

– Эвелина! – позвал садовник, – поди сюда.

Когда та подбежала, сказал:

– Хорошо вытри мокрые руки передником. Теперь протяни ладошку. – Он опустил на эту неухоженную лапку дешевые брошку и сережки с красными камешками, а сверху прикрыл украшения серебряным рублем. – На рубль купи себе красивого ситца. Евдокия сошьет тебе сарафан. Этот подарок тебе, Эвелина, что нет у тебя в жизни никакой радости. Порадуйся хоть этому гостинцу.

Эвелина долго смотрит на садовника, глаза ее наливаются слезами, она падает на колени и неистово крестится:

– Мамочка родная! Хочу – скачу, хочу – не-е. . . – и вдруг заплакала громко, как плачут бабы на похоронах.

– Поехали, Тимофей Иванович. Ну за что природа наказала это существо, обделила разумом.

– На то Божья воля, мы тут бессильны. Ты ружьишко далеко не прячь, держи под руками.

– А что, мужики пошаливают?

– За всех нельзя ручаться. Дорога длинная, две ночи да два дня в пути.

3

Одну ночь отдыхали у знакомого хуторянина, вторую – у озера в лесу. Конь с торбой на морде хрумкал овес. Но что-то беспокоило Горемыку, он вскидывал кверху голову и тревожно стриг ушами. «Зверя чувствует», – догадывался садовник, ему сделалось не по себе. А тут еще филин угукнул. Шунейко схватил ружье и бабахнул в пугающую темень леса. Тимофей Иванович приподнял голову.

– В кого пальнул?

– Твой Горемыка зверя чувствует.

– Зверь на огонь не пойдет. Подкинь валежин в костер и зря патроны не изводи, – голова Тимофея Ивановича скрылась под брезентом. Филин еще раз подал голос. Костер запылал с новой силой, Горемыка успокоился и продолжал расправляться с овсом. В прибрежных зарослях озерных осок шуки охотились на плотву с карасями. «Тут они, должно быть, здоровенные, откормились, и тревожить их некому, место глухое. Вот бы поймать да привезти этаких зверюжин Анне». Стоп, садовник. При чем тут многодетная вдова Анна? Тогда как объяснить, что рассказ Тимофея Ивановича про эту самую вдову Анну не дает ему покоя, застрял в душе занозой. Ему бы как-нибудь одолеть разлуку с Юлией, урезонить горькую обиду за то, что оборвала разом: «Не думай обо мне и не грусти. Оставь нашу встречу в твоём сердце, как красивый подарок. Семья – дети, муж – не для меня. Прощай, я уезжаю и в усадьбе отца больше никогда не появлюсь. Прости меня и поцелуй на прощание...» Он помнил каждое ее слово, льдинки русалочьих глаз и мучительную горечь прощального поцелуя. Ему хотелось куда угодно, только бы подальше от этого флигеля, от садовых ароматов и устоявшегося в нем удущья французских духов. Сам Бог послал ему Тимофея Ивановича. И Баранский не стал артачиться: отпустил, рассчитал по-доброму. А почему – пояснил:

– Хоть и жалко мне отпускать такого работника, да я сам был в твоей шкуре. Юлька – твой грех, а ее мамаша – мой. Обе шельмы: у обеих глазищи – не отмахаться, заманят, заволокут в омут. Ты вот один мучаешься, а я, братец ты мой, жену загубил. Не вынесло ее сердечко моего ошалелого блуда с соседкой Ксенией. Теперь каюсь, на могилу к своей, Богом венчанной, хожу – прощения прошу, цветочки охапками кладу под крест мраморный. А шельма Ксения, как золотая рыбка, хвостиком махнула и уплыла в Питер с князем-осетином. Вот и доченька ее, Юлия – копия своей мамы. А ты, братец, потоскуешь да и оклемаешься. Женишься на красивой, скромной, доброй. Она тебе детей нарожает. А мне Бог не дал детей. Взял малюсенькой, в пеленках, сироту-племянницу, а она оказалась дурочкой. Это мне наказание за грехи мои. Езжай с Богом, проветришь, хлебни иной жизни.

Такая откровенная беседа состоялась в канун аукционной вечеринки.

Странно, но чем дальше конь Горемыка увозил садовника от поместья Баранского и рокового флигеля, тем спокойней становилось отвергнутому любовнику. Он уже бранил себя за то, что не хотел жить и, очумелый, бегал по саду и от дикой тоски падал на опавшие листья, бил кулаком до ссадин по остывающей и равнодушной к его стенаниям дернине. «Разнюнился. Знал же, что добром это не кончится». И чем настырнее одолевали воспоминания о Юлии, тем все больше она отдалялась, казалась недостижимой, нереальной, сном: была и исчезла, скрылась за горизонтом, куда ему, садовнику, дороги нет. Нет, но была, была эта загадочная Юлия. Она сама обвила его шею кольцом сомкнутых рук. И он до одури целовал ее всю, шалея от счастья. Почти три месяца блаженного омота. Вспыхнула, посветила счастливым огоньком и угасла.

Бледнела ночь, прочирикала какая-то бессонная пичужка. Огонь костра устало облизывал головешки валежин. Тимофей Иванович выполз из брезентовой норы, сходил в ельничек.

– Хорошенько я поспал. Поедем, а ты спи, сколь душе угодно.

Чайник с озерной водицей вскипел. Тимофей Иванович умылся, присел на валежину у костра, протянул руки к огню, наслаждаясь теплом. Шунейко сходил к фургону, принес по куску кулебяки и два зажаренных куска свинины.

– А я тут всю ночь наблюдал, как щуки на мелководе в осоке жируют. Вот бы изловить. Они сейчас насытились до отвала, дремотные.

– А у тебя есть чем их ловить?

– Прихватил. Я это дело уважаю.

– Так попробуем, а уж после пытки-попытки чайком потешимся.

Горемыка оживился, когда освободили его морду от опустевшей торбежки, с удовольствием напился и стал щипать приозерную травку. Мужики, охваченные азартом охотников, снимали штаны, обувь и, закатав подштанники как можно выше, вошли в воду. В руках у них была полукруглая рогожина с хвостом из рыболовной сетки. Формой она напоминала большой сачок. И тут началось: они шипели друг на друга, сначала командовал один, как надо этой рогожиной орудовать, затем другой крутил пальцем у виска. Уже не один раз они оказывались в воде выше пояса, не замечая ни холода, ни осоки, кровенящей их ноги. То ли действительно тут развелось щук видимо-невидимо и они тут безбоязненно царствовали никем не пуганные, то ли рыбакам просто повезло. Семь красавиц – настоящие акулы! – еще трепыхались, когда их запихивали в мешки счастливые рыболовы. Шесть хищниц были величиной чуть побольше аршина, а одна – гигант! – во весь рост садовника.

– Вот эту мы упакуем в крапиву и в утирку отдельно. Сделаем подарок вдове Анне.

Обсушились у костра, повертываясь то передом, то задом, пар валил от мокрого белья – настоящий компресс, лечебный. Оделись, обулись, чайник кипятку опорожнили, запивая снедь, подаренную Евдокией. Погасили костер. Поклонились месту ночевки, озеру.

– Ну, с Богом!

Шунейко залез в брезентовую нору и был таков. А Тимофей Иванович огладил своего Горемыку, протянул на ладони кусочек кулебяки и, устроившись на своем месте, дернул вожжи.

4

В поселок приехали без особых приключений. Тимофей Иванович своего Горемыку погнал не ко своему крыльцу, а к дому, где жила многолетняя Анна. Шунейко, отоспавшись, сидел рядом с Тимофеем и тоскливо оглядывался. Казенные дома по обе стороны улицы. Одноэтажные, крытые гонтом. В каждом по две квартиры, разделенные сенями. В сенях – кладовки. У каждой половины дома – своя. Под окнами – два в горнице, одно в кухне – перекошенные палисадники с чахлыми мальвами, «лисьими хвостами» и безрадостными рябинами. И ни одного плодового дерева. «Нет, так жить нельзя», – подумал и пожалел, что не увез все саженцы от Баранского. Проехали мимо гуты с высокой кирпичной трубой, верхушка ее курилась, и дым уходил в сторону торфяного болота. Где оно кончается, никто не знал. Торф – топливо для гуты, он рядом – копай, суши и топи, вари стекло и делай из него все, что твоя башка сообразит. Обо всем этом Тимофей Иванович рассказал садовнику по дороге в поселок.

– Тпру-у, – придержал Горемыку Тимофей Иванович у одного из домиков-близнецов. – Вон, видишь через улицу у колодца женщину, что ведра водой наполнила. Самый раз тебе помочь ей – донести воду до крыльца.

– Вдова Анна?

– Она и есть.

Садовник послушно направился к колодцу.

– Здравствуйте, Анна Гавриловна.

Женщина выпрямилась, строгий взгляд голубых глаз, мощная коса выскользнула из-под кисейного платочка.

– Вас ожидает Тимофей Иванович. Позвольте, я вам помогу. Он внимательно посмотрел на нее, эту строгую красавицу, и ужаснулся тому, что с ним произошло: сердце дрогнуло, затрепетало, как пойманный птенец, да и полетело в тар-тарары. «Мадонна Литта», – беззвучно шептали его губы, и он нес тяжелые ведра, и в них плескалась вода, и он не чувствовал их тяжести. Позади в нескольких шагах шла мадонна Анна с пустым коромыслом на плечах, липовые трепы – типа французских сабо – на ее аккуратных ножках при каждом шаге издавали звук: ах-ах, ах-ах.

Тимофей Иванович поджидал их. На лице усталость и забота.

– Доброе утро, Анна Гавриловна. Вот привез в наш поселок ценного человека. Пообещал, что через четыре-пять годков у каждого нашего «каторжанина» зацветут яблони, сливы, вишни, смородина. Подумайте, куда бы его пристроить на квартиру, чтоб был и стол, и дом. Ну, там уж как получится, а пока примите человека, покормите. У него с собой целое богатство: корзина со съестными припасами, мешок отборных яблок, кувшин меда. А еще по дороге мы в озере щук наловили. Ими надо заняться, чтобы не испортились. Давай-ка, уважаемый садовник, уноси добро в горницу, ящик с саженцами – в кладовку. А я – домой. И еще, Аннушка, вот тебе деньги за твоего коня стеклянного. Вечером зайду проведать.

Анна Гавриловна так растерялась от внезапно свалившегося на нее события, что не могла вымолвить ни единого слова. На крыльце появился Андрей:

– Мам, кто это?

– На время на квартиру попросился, неси в дом, что тут осталось по мелочи.

Андрей долго молчит, соображая, как ему действовать.

– Мам! А ты взамуж за него собралась?

– Пока не посватался.

– А если посватается?

– Там видно будет.

Анна Гавриловна присела на лавку у крыльца, где уже сидел заспанный хмурый Андрей. Мать обняла сына.

– Андрюша! Ты вот хоть раз спросил у меня: «Мама, где ты берешь силы, чтоб стирать по ночам чужое белье, белить потолки и стены, мыть грязные полы зажавшихся ленивых жен наших мастеров-стеклодувов? Но эти сытые и счастливые бабы платили мне, и я могла покупать вам обувь и одежку, чтоб не хуже, чем у других. Я тебя и в школу отправила – учишься, знаю, как худо без грамоты, обидно и стыдно: расписаться не могу. А еще, сынок, тебе уже скоро десять стукнет, а ты со школы да на гуту, а мама косу в руки да на покос, да с ведрами к колодцу десятков раз, да с цибаркой крапивы с мокрицей в хлев к кабанчику, чтоб вы зимой не глотали голодные слюни, а ели кашу с салцем.

Только подушка, мокрая от слез, могла бы рассказать о том, что творилось с безутешной душой Анны, как шептали ее немеющие губы: «Господи! За что же ты меня так жестоко наказал, детей осиротил, меня обрек на вечное страдание и одиночество. За что?» Но подушка не сплетница, она умеет хранить тайны – никому ни гу-гу...

– Ну и железная ты, Аня, – не голосишь, не жалуешься, не просишь, – при случае говорили ей гутянские бабенки. А иная при встрече с Анной утрет кончиком головного платочка замокревшие глаза да и вынесет свой горький приговор:

– Оставаться тебе, Аня, на всю жизнь одиначенькой. Экий хвост, кому такая забобушка надобна.

– На все Божья воля, – отвечала Анна и уходила от сердобольной сударушки так, будто и не слышала ее пророчества. В это памятное утро она поднялась как всегда рано. Проводила свою кормилицу Красулю на выпас. Вернувшись, подхватила ведра с коромыслом и поспешила через улицу к колодцу, пока там никого не было. Вытаскивая воду, гремя железной цепью, она не услышала, как подъехал Тимофей Иванович к ее дому.

Анна Гавриловна легко вспорхнула с лавки, бросилась в сени, в руках самовар, начищенный до золотого блеска, вылила в его нутро четыре ковша воды, закрыла крышкой и в трубу забросила бересту.

– Андрюша! Принеси корзину с шишками.

Но Андрей ее не слышал: то ли задумался, то ли вредничал. Анна сама принесла сосновые шишки, какими в поселке все кипятили самовары.

– Вот что, сынок, когда я тебя родила, мне было шестнадцать. Фрося и Ксения – погодки. А Павлик родился через два месяца после смерти вашего отца. Пять лет я бьюсь одна, а мне только – а может, и уже – двадцать шесть. Я не знаю этого человека, он приехал в поселок помочь рабочим завести свои сады, а еще он грамотный, будет ведать учетом и отправкой посуды по железной дороге. Так он про себя сказал и отправился прогуляться. Может, с недельку поживет, да и будет с него. Этаким видный мужчина, и надо ли ему одевать наш хомут на свою шею.

– Ма, ты вон какая красивая, к тебе сколько мужиков подкатывалось, а ты всем от ворот поворот.

– А этому не будет отвороту, если по закону и даст клятву детей моих не обижать.

Когда вечером Тимофей Иванович пришел проведать, как обустроился садовник в доме у вдовы Анны, он застал всю семью за самоваром. Стол ломился от еды. Спасибо поварихе пана Баранского Евдокии. Она чего только не натолкала в объемную корзину.

– Вот зашел проведать садовника, подумал: а вдруг обидели.

– Садитесь за стол, Тимофей Иванович.

– Да я сыт. Пришел сообщить, что завтра поутру вы, садовник, приглашаетесь к управляющему заводу для деловых переговоров.

– Ну хоть чашечку чаю.

– Чайку с удовольствием, Анна Гавриловна.

Скрипнула дверь, вошла соседка Горохова. Уже в третий раз. В первый раз соли попросила, унесла соль, полщуки и пяток яблок невиданной красоты. Во второй раз безмен ей понадобился. Масляные ее глазки так и крутились, так и стреляли. Унесла кусок пирога, кругленькими своими постреляла, и такие в них были интерес да любопытство, что безмен остался на лавке: повод прийти в третий раз. Дверь вновь скрипнула:

– Ой, бестолковая я, извиняй, Анна Гавриловна, безменчик заберу.

– Тетка Горохова, может, еще что надо? Сразу забирай, а то у нас двери скрипят – слушать тошно, – это сказал Андрей, стоя у окна и обрывая листик за листиком с ни в чем не повинной герани. Горохова подхватила безмен, скрипнула дверью.

– Не надо бы, Андрюша, так. Ты же ее знаешь.

– Как не знать, завтра хоть на улицу не выходи...

И правда, Горохова на «пяточке» все бабенкам обсказала, что видела и чего не видела. Новость по душе пришлась:

– Господи-и-и! Наконец-то Анята избавится от грошовой поденки.

– И то правда. Да будь я такая красавица, как Анята, разве же я бы так жила, так бедствовала, как она?!

– А Тимофей Иванович?

– Он же был с малолетства закадычным другом ее покойного Трофима. Он крестный всем детям Аняты.

– А я видела его. Красивый мужик, если чего у них сладится, пара всем на зависть.

Эта пара «на зависть всем»! и стала моими родителями, отцом и матерью.

...Прошло шесть лет. Не просто, не безоблачно складывалась жизнь у родителей. Соседка по дому аккуратно информировала «пяточок» у колодца:

– Известное дело, курсаковская порода, вся их династия такая – с гонором!

– Так и мастера – золотые руки, есть чем и погордиться. Ихние хрустальные вазы украшают дворцы да замки по столицам и заграницам.

– А Павлика хоть и жалко, перепадает ему от отчима, так и родненький папашенька не потерпел бы такого. Мать поутру снарядит сына, накормит, отправит в школу – учись, родненький, а родненький не в школу, а в лес, на песчаные карьеры и ну командовать сорванцами из поселка и ближайших деревень. Каждый вояка смастерил себе деревянные наган, кинжал, саблю.

– Ой, бабоньки! Это все правда. Мне внучек по секрету поведал: «Павлик у нас – главный командир, командует «шашки наголо!» – тут такая вольница зачнется – жуть.

– Ишь ты, енерал!

– Кто знает, что ждет наших сорванцов. Сейчас для них игра на песчаных карьерах – игра, а вот не успеем и глазом моргнуть, как пропоют нам наши мальчишки: «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья». И пойдут наши родные кровиночки на войну, на смерть и на муку. И тогда в этом гиблом омуте бойни всем нашим мальчишкам – одна судьба, хоть солдатам, хоть офицерам, хоть генералам: на войне пуля – дура, летит, куда нечистая велит. Помилосердствуйте к детям своим! – сказала напоследок Уля, тихая женщина, жена стеклодува Юрия Мотылькова.

– Во, святая парочка. Уж у них любовь, как в книжках пишут: ни кипятком, ни студенкой ледяной не разольешь. Оба грамотные. И книг у них полная горница.

– А только не долго проживет Юра, кашляет. Сжег и он железной трубкой свои легкие. Жалко Улю, грамотейку.

– Вот вы про любовь вспомнили, – таинственно заговорила Горохова, – а про нашего соседа и Аняту завидки берут. Выдалась ночка душная, перед грозой, должно быть, старый мой затуркал: то ему подай, то отнеси – надоел! Подалась в садок наш, вдыхаю яблоневым цветом. Глянула к Шунейкам, а они сидят на скамье и Гилярович ее косу расплетает да рас-

чесывает прядку большим гребнем, расчесет да к губам поднесет – цалует, значит. А какие сладостные слова говорит: «Ты моя радость, ты мое счастье, ты моя единая звездочка небесная». Подхватит на руки и скроется со своей ношей в беседке, увитой хмелем. Луна во всю светит, сад белый от цвета. И тишина. А я стою под молодой яблонькой, и слезы из глаз ручьем. Обидно и завидно. Мой-то, навозный жук, хоть бы раз назвал меня звездочкой ясной да на руках унес меня в рожь с васильками, в травы некошеные. Принесет получку, пересчитает: «Вот тебе денежка, жена. Да аккуратней – не краля!» А ночью в постели полезет, из рота дух, как из отхожего места, шварк – шварк, свалился на бок и захрапел. Вот и вся любовь. А ведь шестнадцати не было, когда посватался. Горохова подхватила коромыслом ведра с водой и пошла прочь от «пяточка». Женщины смотрели ей вслед и молчали, каждая думала о своей судьбе, о своей любви – была она или ее вовсе не было.

5

Раз в год приезжал в поселок доктор Войсет. Это был доктор, о котором говорили – от Бога. Он привозил в объемистом саквояже все необходимые лекарства, материалы, инструменты. Но не это главное, а талант, интуиция, глаза, способные видеть, уши, способные слышать: где в организме человека сбой, беспорядок, угроза здоровью и жизни. К нему на прием приезжали издали с надеждой на спасение. У доктора Войсета и садовника Шунейко сложились добрые отношения. При встрече они могли говорить часами.

– Ты, Гилярович, преобразил поселок. У каждого дома – по садику каждой семье. А в палисадниках цветы – душа радуется. Даже гутнянки похорошели, материться перестали.

– Это они у моей мадонны Анны моду перенимают одеваться опрятно, не горбатиться при ходьбе, не лаяться из-за пустяков.

– Твоей мадонне Анне равных в поселке нет: королева и руки золотые. Но у меня есть к тебе серьезный разговор, а именно: не кажется ли тебе, что твоя миссия в этом поселке закончена, рабочие поняли, какую пользу и радость принесли им сады. Сейчас и сами муравьями на задворках трудятся, да еще – кто лучше – обсадились смородиной, крыжовником, малиной. А тебя я рекомендовал помещику Яну Ростковскому. Золотой человек, и сад у него – рай, сказка. Я ему рассказал про тебя, он всю ночь не спал, все расспрашивал про тебя, твою семью. Словом, вот тебе козырь в руки – решай сам.

Доктор Войсет ушел. Мама убрала посуду со стола и, грустная, вся в раздумье, присела рядом с сыном Андреем.

– Мам! Вы езжайте в Бабаево, а я останусь. Не брошу отцовский верстак, мы ж, Курсовы – потомственные стеклодувы. И я уже работаю, с голода не помру. Если вы оставите мне Павлика и будете помогать на его жизнь деньгами, он будет учиться, четыре класса закончит. Ксения уже тоже ест свой хлеб. Вы же ее навещали, сами видели. Работа на железной дороге ей нравится. Женихов у нее – отбоя нет. Думаю, она вот-вот выйдет замуж, а меня скоро в солдаты заберут. Пташки должны вылетать из гнезда, – мама плачет, а папа тихо постукивает тупым концом карандаша по столу. – Тебе, отчим, спасибо, что помог нам подняться на свои ноги. Было трудно тебе, но было нелегко и нам, твоим пасынкам. Прости, если что не так.

В три дня все и решили с отъездом. Утром на станцию проводили нас Тимофей Иванович и Андрей. Они обняли Антошку, поцеловали меня. Подошел поезд. Мужчины быстро забросили наши скромные пожитки. Папа помог маме подняться в вагон, обнял Тимофея Ивановича, Андрюшу: «Прости, сынок, не держи зла на меня. Смотри за озорником Павликом. Живите разумно. Все вам оставили: корову, коня, поросенка, куриц, сад, жилье твоего покойного отца. Горохова вам будет помогать, у нее детей нет, пускай хозяйствует по-соседски. И тут как с неба свалился Павлик.

– Мама – а-а!

Господи! Сколько раз в своей жизни придется моей маме провожать и прощаться со своими сыновьями.

На станции Коханово нас встретил кучер пана Ростковского. Папа с кучером Евхимом уложили пожитки на уместистой телеге. За спиной кучера уместилась мама, держа меня на коленях, рядом с нами – Антошка. Папа за нами лег поперек телеги, подставив свою спину как опору.

– Трогай, Гнедой, поехали до хаты, – Евхим подергал вожжами, и мы тронулись в путь.

– Тут недалече, еще дотемна будем в Бабаево. Жить будете в домике садовника Петра Береста.

– А где этот садовник Петр? – спросила мама.

– На войне Петр. Поехал добровольцем гибели себе искать. Жена у него, красавица Ксюша, померла во время родов. Думали, тронется парень умом. А тут на войну с немцем шел набор, он и подался в солдаты, – кучер дергает вожжами, – ну ты, байбак, шевелись. В дому Петра пользуйтесь всем, как своим.

Мы приехали в Бабаево, когда уже стемнело. Евхим открыл дверь в дом, зажег керосиновую лампу и, поклонившись, сказал:

– С новосельем вас, в добрый час, храни вас, Господь.

Евхим уехал на телеге в конюшню, а мы остались в домике Петра Береста. Меня раздели и уложили в новенькую деревянную кровать, в которой должен был спать ребенок Берестов. Но я об этом не думала, усталая, уснула, и снились мне летающие в небе птицы.

Мы спали до утра на матрасах, набитых свежей овсяной соломой. Папы в доме не было.

– Где папа?

– Папа пошел осмотреть сад, где всем нам придется работать.

– И мне?

– И тебе.

– А где Павлик?

– Да спи ты, Христа ради, не рви мое сердце.

Я вспомнила Павлика, когда он прибежал к вагону, а поезд уже тронулся, и Павлик закричал отчаянно: «Мама-а-а!» Мама плакала. А папа сказал: «Хочешь, заберем его в Бабаево?» Но мама ничего не отвечала и только плакала.

6

Новый садовник Шунейко в полной тишине и одиночестве обходил территорию сада пана Ростковского. Его удивлению и восхищению не было конца: кусок земли в двадцать одну десятину был как бы окантован широкой живой изгородью елок, и это были не просто чудесные елочки, что растут вдоль железных дорог, а мощные красавицы, хоть каждую на выставку. Зоркие глаза садовника заметили под развесистыми лапами сыроежки. Их было так много, что рябило в глазах от этой разноцветной мозаики. Попозже должны появиться и боровички. «Надо же», – радовался садовник, как радуется ребенок новой игрушке. Все его в этом саду веселило: ухоженные деревья в пышном цветении напоминали прекрасных дам и их кавалеров на весеннем балу во славу жизни и солнца. «Ай да пан Ян, ай да молодец Петр Берест, да спаси его, Господь, на бойне бешеной. Надо будет и мне не ударить лицом в грязь».

Он охмелел от свежего воздуха – это не поселок гутняков, где с бескрайнего болота тянет тленом, а из трубы заводской – удушливым смрадом перегоревшего торфа. «Тут рай, Божий рай. Спасибо доктору Войсету, что он выгнал меня с семьей с гуты. Пускай сейчас сами шевелятся для своего же блага. И склад, и отправка стеклянной посуды на «железку» до горькоты надоели. Наглotalся гари...»

Не знал в этот час своих раздумий садовник Шунейко, мой отец, что злая судьба вернет его с семьей вновь в поселок из-за рабочего пайка хлеба. Не знал и не предполагал такой кары, возвращаясь из райского сада пана Ростковского.

Не мог он ни знать, ни ведать и судьбы этого чуда – сада. Не мог!

А сейчас, покидая территорию сада, Шунейко встретил пана Ростковского, к обоюдному удовольствию обоих.

– Ну как мой сад, Бернард Гилярович, по душе пришелся?

– Не то слово, пан Ростковский. Осмотрел все до пяди и вот возвращаюсь, а душа поет.

Рай!

– Вот и барзо добже, что так мыслите. Значит, сватовство наше состоялось.

– Помогите, Господи!

Они присели на скамью с ажурной спинкой. Помолчали.

– Боюсь, Бернард Гилярович, что совсем недолго придется нам находиться в этом моем богатом раю. Грядут лихие времена – перемены, смута, а такое редко кому повезет пережить да уцелеть. Грядут, грядут времена... «Слободы» требуют, а что с ней делать – не знают. Вот тут и начнется самое страшное: громи, кроши, жги огнем да убивай и правых, и левых. В такой смерч не доведи, Господь, попасть.

– Я все, о чем говорите, пан Ян, глубоко понимаю. И все же человек не желает мириться с неотвратимостью судьбы, надеется на авось!

– И это правильно, пока жив человек, думай о жизни. Домик садовника Петра Береста хоть и небольшой, но для жизни все есть: кладовка, уемистый погреб, обустроенный чердак, огород тут же, рядом с домом. Пользуйтесь всем, что есть в доме: посуда, бочки, ведра, сбруя. Коня с телегой приведет в ваш двор Евхим. Дойную коровку пригонит скотница Меланья. Живите! И вот еще что, семье вашей надо купить одежду, обувь, белье – надо, надо, не возражайте. Сегодня же принесет вам мой кучер жалованье за четыре месяца: за май, июнь, июль, август. Есть к вам одна просьба – порадуите невестку Ванду и внучат моих, Гелю и Ясика, каким-нибудь сюрпризом в саду. Хочу, чтобы запомнили маенток¹ деда Яна добром. А теперь, Бернард Гилярович, ступайте к семье.

¹ Маенток – поместье.

Все вещи Петра Береста и его жены Ксюши мама уложила в нижний ящик платяного шкафа, сверху положила их свадебную фотографию и, горько вздохнув, перекрестила:

– Дети! Никогда не открывайте этот ящик. В нем поселилась страшная человеческая беда. Запомнили? Беду нельзя выпускать на волю, это большой грех. А Петро, даст Бог, вернется.

За завтраком папа рассказал нам о том, как ему понравился сад, и как хорошо они поговорили с паном Яном, и как хозяин одарил нашу семью. И про корову, и про лошадь, и про жалованье за четыре месяца. Папа взъерошил на Антошкиной голове волосы и продолжал: – У нас за домом растут пять антоновок, две вишни, слива, груша и куст лесного ореха. Это все наше теперь.

Мама закрыла лицо ладонями:

– Господи! Ну за что же нам такое счастье свалилось?! Вот проснусь – и кончится мой полет.

– А ты, Аннушка, не просыпайся, а послушай, что скажу. Жалованье за один месяц разделим на четыре кусочка и отошлем всем твоим Курсаковым. Все же приятно получить весточку от родителей.

Прошел год. И сад вновь заневестился в белом душистом наряде. Садовник и пан Ян сидели на уже давно любимой белой скамье с ажурной спинкой под развесистой акацией.

– Спасибо, Бернард Гилярович, за сюрприз для внуков и для нас с невесткой. Это вы хорошо придумали – индейские вигвамы, костры, печеная картошка, сыроежки, зажаренные на прутиках. И самое удивительное – похищение пленных: царицы пантер Ванды, коровницы Меланьи – Хвостатой из племени буйволов, кучера Евхима – Архара из племени козлов. А вы, уважаемый Бернард Гилярович, были лучшим из племени Рыжих. Я, Ян Ростковский, тоже заразился озорством и стал Шерханом, а ваш Антошка – моим верным Шакаленком. Ах, дорогой Бернард Гилярович, а ваш второй сюрприз будет сниться мне до конца моей жизни. Вот уеду и уже в дороге прикрою глаза, а передо мной благоухающий цветник – просто настоящее чудо. Даже бабаедовцы – далеко не лиричный народ – приходили полюбоваться и часами стояли, не в силах оторвать глаз от такой красоты.

Жаль, что такие сюрпризы будут уже последними. Думал, хотя бы год еще поживу в своем родовом гнезде. Слава Богу, зиму пережили. И как ни горько, а уезжать надо. И немедленно. Я бы хотел помереть тут, и пусть бы меня похоронили в моем саду, да сын Анджей взял с меня клятву отвезти невестку с детьми на родину Ванды в Польшу, хоть пешком, хоть ползком, а выполнить эту просьбу. «Если убьют на войне, так жена с детьми останется с родными», – так он мне написал в письме, которое отправил со знакомым человеком и передал, чтобы я не тянул с отъездом, не жалел ни о чем, отпустил прислугу и немедленно уезжал: «Дай Бог, чтобы вы благополучно добрались до родителей Ванды. Я за вашу судьбу очень тревожусь».

Мы с нетерпением ждали папу. И обрадовались, когда он пришел. Папа подхватил меня на руки, высоко подбросил и, поймав, расцеловал щеки, нос, лоб.

– Аннушка! Зоренька моя! Мы попали в рай к самому доброму ангелу, Яну Ростковскому.

Он вымыл руки и лицо, утерся рушником и сел за стол. А у нас все было готово: отварная картошка с жареным салом, горка пышных оладий и чай со смородиновым листом.

7

В конце дня пришел к нам конюх пана Ростковского, устало присел на краешек скамьи.

– Покидает свое родовое гнездо пан Ростковский, хозяин мой – старик мнет непослушными пальцами клочок бумаги из амбарной книги, пытается свернуть «козью ножку», самосад просыпается сквозь пальцы. Наконец, справился, задымил. – Сегодня в ночь и тронемся. Просит вас, пан Шунейко, прийти попрощаться. Вот вместе и пойдем. И они ушли, прикрыв за собой дверь.

Евхим шел за садовником и тихо, как на исповеди, облегчал свою душу.

– Жалко пана Ростковского. Говорил: «Хорошо бы в моем доме школу открыть. Дети бы могли и учиться, и за садом ухаживать. И не только наши ребяташки, но и из других деревень, где нет садов, а во дворах – кучи навоза». Он добрый человек. Никому зла не чинил. У кого из мужиков какая крайняя нужда, к кому с поклоном? – к пану Ростковскому. Только пьяниц не поважал. Говорил: «Пьяница – враг семье, жене, детям и хозяйству. Пьяница – лодырь, всем от него лихо одно». Вот сейчас у нас в Бабаедове нет ни одного двора без сада. А все – он, пан Ян. Когда свой сад заимел, одарил всех мужиков саженцами. А после самолично проверял: хорошо ли посадили, подходящее ли место выбрали для своего сада. Сам лично, если что не так, переделывал. Теперь у всех мужиков сады – нет надобности воровать яблоки с грушами в панском саду. У каждого свои есть.

Я у пана в кучерах и конюхах давненько. Еще ядреным мальцом стал кучером. А пан тогда был – гоголь! Да, вот жил человек, жил и, как говорится, дожил до крайности. Две подводки снарядил, попросил до Орши отвезти. А там... как Бог даст.

А я уж его не оставлю. С ним до конца. Он меня не обижал, свадебку справил. Дал коня, сбрую – хозяйствуй, Евхим, радуйся. Да не тут-то было. Померла моя женушка любезная нежданно-негаданно. Косил на лужку, она валки разбивала. Глянул, как кто в спину толконул, а она, Любаша моя, подкошенной травинкой свалилась на бочок, прямо на валок полевых цветиков. Ох, тоска меня в тиски зажала. Спился бы и подох, если б не хозяин.

Конюх Евхим говорил, говорил, а садовник Шунейко слушал его, а может, и не слушал и думал о чем-то своем: нагрянула беда, ломаются судьбы людские, рушится то, что казалось нерушимым.

– Хозяин ожидает вас на своей любимой скамейке под акациями – всегда там отдыхает. Господь великий! Помоги добраться нам туда, где ждут хозяина с внуками и невесткой. Больно беспокойно стало.

Ян Ростковский закутался в теплый бархатный халат.

– Спасибо, Гилярович, что еще раз пришли. Есть у меня к вам последняя просьба. Где похоронена моя жена, знаете?

– Как же не знать, ведь именно у креста из белого мрамора по вашему велению я посадил куст черных роз.

– Конечно, конечно, стал забывать. Так вот, в мае, когда зацветает сад и в последний день августа отнесите на могилу моей жены цветы с поклоном от меня. Я знаю, что вы это выполните.

– Клянусь, Ян Францевич.

– Спасибо. Если бы я был уверен, что в моем доме учатся дети грамоте, а сад мой оставался бы таким же, каким я сегодня его покидаю... Только б не варварам на растерзание, только б на жизнь и добро.

Томительно молчат мужчины. В тени деревьев, в траве светятся две точки. Это любимый кот Яна Францевича, Базиль. Кот неторопливо приблизился к скамье. Мощный прыжок, и он на коленях у своего хозяина.

– Ах ты, душегуб, все разбоем занимаешься, сколько мышинных душ загубил? – Кот повел мощным пушистым хвостом и замурлыкал. – Оставить бы тебя здесь в раздолье, да внуки в тоске изведутся, плакать будут. Готовься, разбойник, к дальней дороге. – Ян Францевич поднялся со скамьи.

– Бернард Гилярович, простимся. Провожать не приходите. К утру нас уже не будет здесь. Жаль, мало пришлось нам вместе творить чудеса. Прощайте.

Кончился бабаедовский рай пана Яна Ростковского. Смута гонит его прочь из своего дома, сада – всего, что годами строил, сажал, растил. Не гнушался с косой на луг выйти, с плугом по пашне прогуляться. Сегодня рано, еще до восхода солнца срезал хризантемы, астры и снес их на могилу жены, попросил у нее прощения: «Самая родная, самая любимая, прости за все, что было для тебя обидным. Принес тебе последний раз цветы. Увожу наших внуков с невесткой на ее родину. Так просил наш сын Анджей. Прощай, весна моя, навеки любимая. Ты видишь – я плачу».

Ян опустил на колени, коснулся лбом холодного мрамора надгробной плиты. Возвращался с кладбища опустошенный, ссутулясь, с трудом переставляя ноги. А в голове застряла такая щемящая мелодия и до спазм в горле звучал родной голос его юной красавицы жены, прозванной среди друзей Прекрасной Еленой: «Черные розы – эмблема печали...» Осиротел дом пана Ростковского. Мой папа запер все двери, окна заколотил досками. И стал ждать – что дальше будет, в тайне опасаясь бабаедовских мужиков. «Они все могут спяна: разгромят, а то и сожгут. Пускай бы новые власти школу открыли. Ты, пан Шунейко, побереги дом для доброго дела», – такие слова сказал пан Ростковский на прощание. Было грустно. И очень тихо. Даже вороны не подавали голоса в березовой рощице у ручья. А папа по-прежнему рано утром уходил в сад и работал там весь день. Мы с Антошкой помогали папе: сгребали листья и очень радовались, когда выкатывалось к ногам большое яблоко. Особый восторг, когда подарком окажется «господин апорт», яблоко-великан.

– Это маме.

У папы было плохое настроение. Он кашлял, часто отдыхал и очень сердился на нас, если мы с Антошкой делали что-то не так или чересчур веселились и начинали носиться по саду, как оголтелые, швыряя друг в друга охапками опавших листьев. Однажды он назвал нас лентяями и прогнал домой.

– Мама дома одна, дел невпроворот, а они тут разыгрались, как зайцы на лесной поляне. Марш домой и – за дело.

– Это все из-за тебя, Антошка, ты мне за шиворот холодных листьев напихал.

– А ты визг подняла... поросенок.

Только мы прибежали домой и еще не успели у мамы спросить, что нам надо делать, как у нашего дома появились три всадника. Они соскочили с коней, привязали их к пряслу и вошли в сени. Мы вытаращили глаза да так и замерли.

– Зайти в дом можно?

– Заходите, заходите, – спохватилась мама и поставила на стол решето с яблоками. – Угощайтесь.

– А где хозяин?

– В саду, где ж еще ему быть, – опять эта меловая бледность на лице и пальцы дрожат. – Все в саду. – Мама устало опустилась на лавку, а Антошка пулей выскочил за двери и помчался в сад за отцом.

– Па-а-а-пка-а! Чека приехала, аж трое. Все в кожаных черных куртках.

– Ну чего ты закаркал вороненком, приехали и приехали.

Антошка упавшим голосом перешел на шепот:

– Тебя, папа, спрашивают.

Он еще хотел спросить: «Тебя не арестуют?» – но ему стало так страшно от одной этой догадки, что он замолчал и, нахлобучив на глаза шапчонку, скрыл набежавшие слезы.

– Пойдем, сынок. Все будет ладно. Я ж не пан Ростковский. У меня не только нету панских хором, а и домишко, в котором живу, был панский, а теперь, выходит, казенный... А Тоня где?

– А она уселась на мамины колени и таращит глазищи на этих, сенненских.

Папа шагал так быстро, что Антошка за ним еле поспевал.

– Не ждал гостей, гражданин Шунейко? Не тушуйся. Мы тебя назначаем уполномоченным. Привезли и документы с печатью, так что останешься хозяином и сторожем по совместительству. Ты у пана Ростковского был садовником, наемным работником, значицца, он тебя эксплуатировал. А теперь ты назначен новым революционным правительством уполномоченным и несешь полную ответственность за сохранность бывшего панского дома, в котором планируется открытие школы, и сохранность сада – твоя обязанность, за урожаем приедут из Сенна, и пойдет он на питание в детские дома, словом, осиротевшим в войну детям.

Рыжий покрутил кончик уса, выложил на стол две бумажки.

– Вот эта, с печатью, – ткнул он пальцем в бумажонку, – твой документ: кто ты и что ты. А вторая – твое обязательство. Вот тут, внизу, распишись за то, что несешь полную ответственность за сохранность бывшего панского имения со всеми пристройками и садом. Расписался? Ну и лады, – рыжеусый закурил, выдохнул изо рта пухлыми, будто ярко окрашенными киноварью, губами фасонные колечки дыма. – И еще мы привезли тебе одну штукенцию – ружьишко и десяток патронов. Это на всякий непредвиденный случай. Мы уже и так много проморгали – мужики разгромили панские усадьбы, растаскали добро по дворам на свои нужды, а то и вовсе сожгли дотла. В твоём куту такого не должно случиться.

Мне очень хотелось сообщить сенненским «комиссарам», что папе уже грозили бабаевдовские мужики, но промолчала – Антошка, страшно округлив глаза, прижал палец к своим губам: молчи, мол, не пикни!

– Так вот, гражданин Шунейко, оставляем тебе ружье с патронами. Если что не так, пальнешь для остратки. Ну, а если что всерьез, мчись в Сенно, поможем. Мужики сейчас ошалели от слободы, бесятся, того и гляди...

Они уехали с большим коробом отборных яблок.

– Ой, чует мое сердце беду, – сказала мама и заплакала.

8

... В тот вечер к нам явилось трое бабаедовских мужиков – известных драчунов на вечеринках и свадьбах, больших любителей самогона.

– Нам, пан Шунейко, все уже досконально известно. Нехай ты и уполномоченный и в ответе за панское добро, но нам на это дунуть-плюнуть и лаптями размазать по панскому паркету. Слобода! Было панское – стало народное. А мы, крестьяне, кто? Народ мы! Вот ты, хоть и уполномоченный и расписался за то, что сохранять будешь, а только нам это ни к чему.

– Да что ж вы, мужики, в панском доме школу открывать намерились. Ваших же детей учить грамоте будут.

– А что касемо школы, то улита едет, когда что еще будет. Здесь же зима не за горами, а у нас печки прохудились, избенки с глиняными полами. По ним детишки малые ползают. А в панском доме одних каминов да голландских «группок»² навалом, кирпич! А полы – дубовые доски, да опять же – окна застекленные, двери высоченные – добро!

– Вот что мы тебе скажем: не мешай нам, мы ж – сила, а ты – один. У тебя детишки да Анята! Упреждаем: не мешай! Мы не отступимся. И не доводи нас до убивственного греха.

С этого вечера наступила для нашей семьи беда так беда. Днем спали по очереди, а ночью караулили. Антошка на чердаке, мама в сенях у двери. Я цеплялась за подол ее юбки, у мамы большой живот...

Полночь. За окнами ни зги и тишина такая, будто онемел весь земной шар. Ни шелеста листвы, ни посвиста осеннего ветра, ни лая собачьего. Нам бы спать сейчас, потеплее укрывшись, а мы в сенях дрожим от неумного страха и холода. Мы ждем, что вот-вот нагрянут бабаедовские пьяные мужики с топорами, чтоб громить дом пана Ростковского. А еще они грозили папе, что лишат его жизни, если он будет перечить. Мама стоит у входной двери в сенях. Ее руки касаются железной задвижки, пальцы дрожат как в ознобе, и старый расшатанный затвор на двери выбивает дробь. Этот неприятный звук мешает прислушиваться к тому, что происходит за стенами нашего жилья. Мне страшно – ведь моего папу могут убить. Всеми силами сдерживаюсь, чтоб не зареветь в голос. В кромешной темноте сеней я каким-то чудом вижу неестественно белое мамино лицо. Мои руки и ноги – ледышки. Почему папа ушел караулить панский дом без ружья? Ведь ему сами начальники оставили ружье и патроны: «Пальнешь, если что – для острастки». Прижимаюсь к ногам мамы и дрожу, как осиновый лист на ветру. А папе тоже страшно. Он один в огромном пустом доме. «Папочка, миленький, я не хочу, чтоб тебя убивали. Папочка, я тебя очень сильно люблю, – вытираю слезы краем маминой юбки, – а Антошке страшно?» Он на чердаке несет караул у очень маленького оконца. И что он может увидеть в такой темноте?! Он еще днем натаскал на чердак камней и подвесил на веревочке железный противень: «Знаешь, какой гром устрою, испугаются и топоры побросают...»

«А вдруг Антошка уснул и мужиков прозевает?..»

Антошка не прозевал, он первый услышал голоса погромщиков.

– Пошли к панскому дому. Человек десять, а может и меньше. Не бойтесь, они папку не поймают. Он в погребе, с секретным лазом в малинник... Слышали, что я сказал? Слышите – орут! – и голова Антошки исчезла из проема над лестницей на чердак.

– Отдай ключи по-хорошему, – орал погромщик.

– Не имею права, мужики. Отдам ключи, мне и вам – трибунал!

– Нас... мы на твой трибунал!

– Мужики! Опомнитесь! Те ухари, что громили соседские имения, под этим самым трибуналом, на какой вы...

² Группки – печки.

- Отдай ключи и не страшай. Мы ж тебя, гада, упреждали – не мешай. Навались, мужики.
- Нехай ключи отдаст. Мы по-благородному желаем.
- Ключи не отдам, я в ответе за сохранность этого дома.
- Бей Шунейку, – заорал самый нетерпеливый, по прозвищу Хвост.
- Раз, два – взяли...

Папа ушел, оставив дверь на волю рока, прошел на кухню, спустился под пол, прополз до погреба и выдавил себя сквозь слуховое оконце, оказавшись в густых зарослях малинника. Не успел сделать нескольких шагов, как услышал знакомый голос:

– Пан Шунейко, это я, Петр Звонцов. У меня конь оседлан за Павловой банькой, я мигом в Сенно – надо этих выпивох урезонить. А вы палите из ружья. Я – свидетель, если что... Поспешайте домой, там же жена, дети.

И они разбежались – Звонцов к своей лошади, а папа к нам.

Дубовая дверь панского дома не поддавалась. Хвост предложил:

– Давайте его Анюту с детишками пугнем – отдаст ключи!

Мама услышала топот многих «озорников» и тут же на крыльце голос папы:

– Анюта! Открывай!

Мама рванула задвижку и только успела закрыть за папой дверь на засов, как к ней привалилась ватага мужиков – вот-вот выломают. А папа уже с ружьем взобрался на опрокинутую вверх дном бочку и просунул ствол в щель над дверью. Когда дверь затрещала, папа бабахнул из ружья, как будто из пушки.

– Всех перестреляю, на то мне и ружье дано. Дом панский громить не дам, детям школа надобна, – громко высказал свое решение папа и на всякий случай зарядил ружье новым патроном.

– Ты еще попомнишь нас, – загалдели притихшие было мужики. А Хвост фальцетом перекрыл галдеж:

– Мы ж тебя упреждали.

И тут Антошка на чердаке ударил шкворнем в подвешенную им железку, наделав звона-грома. Затем, высунув голову в чердачное оконце, скомандовал: «В атаку!» – и азартно стал швырять заранее припасенные им камни, куски старого кирпича и черепки битой посуды. Весь этот шквал – орудие нападения – летел в ночную темень. Мужики, матерясь, удалились, а папа вышел на крыльцо и еще раз бабахнул поверх садовых деревьев – так, для острастки.

В эту ночь мы уснули только к утру, на меня напал колотун, и я никак не могла согреться.

В полдень из Сенно прибыли верховые в кожанках, в фасонных галифе и хромовых сапогах со шпорами. Бабаедовцы ломали головы: как узнало сенненское ЧК, что произошло в Бабаедове минувшей ночью. Всех пожелавших – ни жить ни быть – разломать панские каминны и голландские «групки», чтобы подлатать свои развалюхи-печи, собрали у прясла панского дома. За всем, что происходило, наблюдала порядочная толпа. Погромщикам повязали руки за спинами, усадили в бывшую панскую телегу, в какой ранее возили снопы с поля. И пока Петр Звонцов, усталый и хмурый, возился, запрягая своего коня, чтобы отвезти арестованных в Сенно, Хвост каялся:

– Я ж говорил им: «Мужики! может, не надо так-то». А они на меня пришикнули, еще и ногой под зад долбанули. Бабы, дети наши, прощевайте, – голос у Хвоста перешел на жалобный писк, прерываемый плачем. – А все это от проклятого самогону Кандыбихи: опоила, одурманила дураков. Заорали: «Громи панский дом! Забивай Шунейку!» А за что? Он же дом для наших детей старался сбересть, для школы. Граждане! Простите вы нас, окаянных.

В толпе заголосили женщины. Кто-то из них крикнул: «Бей Кандыбиху – самогонщицу! Это она виновата!» Бабаедовцы долго потом шли за телегой с арестантами и тремя всадниками в галифе и скрипучих кожаных куртках.

9

С тех пор притихла деревня Бабаево. Только и шуму, когда на заре пастух Павла проигрывает на берестяной дудке побудку – просыпайтесь, бабы, хватит спать, гоните коровушек травы пощипать.

Шло время, про пана Ростковского не было никаких вестей. Правда, ночевал у Тялоха давний его родич, и будто бы он рассказывал, что пан Ростковский со своей семьей и кое-каким скарбом с помощью знакомого лесничего на своих же подводах потайными лесными дорогами добрался до границы Польши.

– Ну, а там он, как в родном доме. Известно – поляк...

Об этом поведал кое-кому «по большому секрету» Тялох, мужик сам себе на уме:

– Пускай что хотят воротят, а только б нас не чапали.

И правда, никто нас пока «не чапал». Будто забыли про Бабаево, «агромадный» сад пана Ростковского и про люд, что притих, как деревья пред грозой. Где-то проходили разные события, одно другого страшнее, а нашим бабаедовцам все трин-трава.

– Не трепыхайтесь, мужики, – говорил пастух Павла, уважаемая личность в нашей деревне, – живете, слава те, Господи, и живите. А что дале будет, поживем – увидим.

Задолго до восхода солнца Павла пришаркал в лаптях на выгон, достал из-за пазухи берестяной рожок, поднес его к губам, чтобы подать сигнал заспанным бабенкам немудреной музыкой: «Туру-туру, туруру, я коровок ваших жду», – как вдруг ахнул и заткнул рожок на свое место, за опояску на одежонке, не имеющей определенного названия. Озадаченный, он стал соображать, что к чему... Метрах в пятнадцати от его, Павловой, баньки, что подарили ему мужики за ненадобностью «обществу» – каждый свою собственную сгношил – стоит телега-развалюха, а рядом лошаденка хрумкает траву, кем-то ей припасенную...

Этим «кем-то» оказался парнишка лет десяти. Волосенки прилипли к потному лбу, на плечах истлевшая от старости ситцевая косоворотка без единой пуговки у ворота и холщовые штаны, закатанные выше колен. Мальчонка скорбно смотрел на пастуха, а пастух – на неожиданного гостя.

– Ты кто, паря? И что тута делаешь?

– Дяденька, родненький, не ругайте меня и не гоните, Христа ради. Погорельцы мы, измучались. Ни в одну деревню жить не пускают. А мамане срок пришел рожать. Это седьмой будет.

– А батяня ваш где?

– Батяня погиб в огне, хотел кое-чего из добра вынести – не успел. На наших глазах крыша рухнула и батяню... Маманя в огонь кидалась, люди удержали. А она – будто не живая...

– А по какой причине изба ваша сгорела?

– Люди баяли, что дядька Васик спалил. Больно батяньке, своему родному брату, завидовал: и тому, что на гармошке играл, и что детей много, и все дети как дети, а у него одна дочка, да и та будто «пыльным мешком хлестнутая».

– А где дети? Маманя? Чтой-то их не видать.

– Дети в бане. Я им дал наказ: сидеть без писка. Да как не пищать, когда жрать охота, а у нас ни бульбинки, ни корочки хлебной. А маманя вон, над озерцом сидит, стенку бани лопатками подпирает да ойкает. Потуги у нее, рождает.

– Вот что, паря, ребятенков всех из бани – прочь, пускай на телеге кантуются. А маманю твою – в баню. Живо!

Первой пригнала на выгон свою корову Тайка, по прозвищу Стрекоза, – тонконогая девочка, большеглазая и самая озорная из всех своих сверстниц. И откуда у нее что берется?! Вот и сейчас, едва увидела, какая из Павловой баньки высыпала ватага незнакомых ребятишек, и все они побежали к телеге, возле которой конь доедал траву, а вдоль бревенчатой стены с

крохотным оконцем на четвереньках ползла баба, Тайка от удивления раскрыла рот. Белый головной платок сполз бабе на глаза. Пряди длинных светлых волос цеплялись за макушки травы. Женщина добралась до порога бани, и тут ей помогли Павла и мальчонка. Через минуту-другую они выскочили из бани.

– Чаво рот раскрыла, глазищи таращишь?! Лети, что есть силы, клич бабку Анухриху. Женщина рожает – подмога надобна.

– Дядечка Павла, ты что, жанился?

– Тьфу на тебя, стрекозу шальную, погорельцы это. И галопом сюда с Анухрихой, не то и кнута отведаешь!

– Ой – ешаньки, – пискнула Тайка и умчалась.

Не прошло и десяти минут, как на горизонте появилась Тайка. Она тащила за руку Анухриху, сухонькую старушонку, известную на всю округу повитуху-целительницу – такой талант ей был дан Богом.

За Тайкой с Анухрихой бабы гнали своих коров. Уже вся деревня знала про погорельцев, а потому хотелось увидеть их своими глазами.

– Ночью приехали?

– В бане Павловой ночевали?

– А баба рожает?

– Рожает, когда срок привалил. Ох, Господь наш, прости нам грехи наши, – судачили бабы, погоняя буренок.

Когда подбежали Тайка с Анухрихой, Павла рванул дверцу баньки, и из ее притемненной глубины вырвался едва сдерживаемый вой. Павла буквально подхватил Анухриху под локотки и внес ее к роженице. Но тут же выскочил из предбанника, сорвал с головы кепчонку и осенил себя крестом, щурясь на огненно-розовый край солнца, выглянувший из-за кромки темного леса.

Все молча смотрели на пастуха в глубоком раздумье. И тут, нарушив тишину, как гром среди ясного неба, прозвучал басок Кандыбихи, бабы богатырского роста и мощного телосложения:

– Так что это, вся эта орава в бане останется жить? А если, к примеру, я захочу помыться-попариться, раз у меня, к примеру, нетути бани своей.

Павла почесал затылок:

– А ты, Кандыбиха, к примеру, в эту баньку не поместишься. Ты, к примеру, и в дверной проем не просунешься. Моесси ты, к примеру, у Тялоха, в его просторной бане, ну и мойся. Аль он тебе худо мочалкой спину трет? Али ты ему самогону мало даешь?

Раздался дружный хохот. Толпа баб загалдела, и Кандыбиха, втянув голову в плечи, быстренько засемила по улице к своей избе – прочь от этих баб-балоболок, от пастуха Павла, к которому все бабаедовцы относились с почтением. А как же: честный человек, понимает в ветеринарии, а еще и «хвилософ» – скажет, будто в узел завяжет.

«Погоди, погоди, хвилософ, дойдет мой черед пастуха кормить, я тебе кой-какой травки подсыплю – весь лес обдрищешь...» – Кандыбиха вдруг остановилась, повернулась лицом к бабьей толпе:

– Эй, вы, козы драные со своими безрогими козлами, пелювала я на вас. Вот вам! – она повернулась спиной и нагнулась, задрав юбку. Все ахнули, увидев внушительных габаритов бело-розовый зад...

Бабы заулюлюкали. А Кандыбиха медленно удалилась, помахивая березовой веткой.

Дверь баньки распахнулась, на пороге стояла Анухриха и, победоносно поглядывая на баб, объявила:

– Двойню родила погорелица, кричат в два голоса, с перевязанными пупками лежат на березовых вениках. Ой, и орут-то, радехоньки, что вырвались на свет Божий.

– Ну-ко ты, стрекоза, лови шайку да зачерпни поболее воды, обмою мальчонок студенкой, здоровее будут. Смотри, девка, пиявок не начерпни.



Павла положил руку на плечо мальчонки-погорельца.

– С братьями тебя, паря. Назови одного Павлом, второго – Касьяном.

– Так Касьяном звали моего папаню, и я – Касьян.

– Ну, тогда, Коська, дадим им имя Павел и Иван.

– Иван уже имеется. Вона, на телеге ревом ревит, жрать просит. Известно, несмышлелыш, не знает того, что нечем кормить, а терпеть не желает. Батянин баловень. Назовем одного Пашкой, а другого – Ромашкой.

– Лады, перекрестился пастух, бери мою дудку и труби победный марш во славу Пашки и Ромашки.

Мальчишка взял рожок и заиграл так красиво и так звонко, что бабы захопала в ладоши.

– Вот тебе, Павла, и помощник. Подпасок что надо.

– Коська, согласен работать с нашим Павлой?

Коська закрыл лицо черными от грязи руками, часто закивал головой и всхлипнул.

– Ну вот, бабы, и порешили этот вопрос. А теперь мы с Коськой пошли трудиться, а то ваши коровы уже, кто знает, куда улепетнули. Ишь, обрадовалось рогатое обчество, свободу почуяло, а вы тут, бабоньки-красотки, пошуруйте по своим кладовкам, кто чем поможете погорельцам да сходите которая к Шунейку, обскажите ему все, что требуется. Как садовник решит, так и будет – у него доброе сердце и ума палата.

А моему папе с мамой уже давно все доложили, и он катил к погорельцам садовую тележку, полную яблок с грушами. Антошка тащил в мешочке немного ячменной крупы, картошки и бутылек конопляного масла. Я помогала маме нести узел с кое-какой одежкой, чудом сохранившейся на чердаке в сундуке Ростовских. Но самый ценный подарок погорельцам – кусок мыла.

– Уважаемые женщины, обратился папа к «обществу», – беда может одолеть каждого из нас. В беде надо помогать. Я под страхом смерти не отдал ключи для подлого дела, а сейчас отдаю ключ от пристройки, где жил конюх Евхим. Там две комнатухи и кухня с печкой, сарай для лошади. Туда мы отвезем погорельцев. Сад – вот он, яблок навалом – отъедайтесь, дети. Тут и колодец рядом.

– Как вы полагаете, уважаемые женщины, правильно я решил вопрос?

– Правильней и решить-то нельзя.

Дело закипело. Тайка с Анухрихой затопили баню и стали носить воду из колдобины. Им помогали дети-погорельцы, которые постарше. Хотела и Наталья встрять в работу, да Анухриха налетела на нее коршуном: отлежись малость, очухайся. Ой, нагорюешься ты, баба, и набедаешься...

К вечеру всех погорельцев, вымытых, подстриженных и вычесанных частым гребешком, переодетых в одежду, собранную бабаедовскими бабами, перевезли на их же телеге и их же конем на «кварту» бывшего панского конюха. Наталья низко поклонилась всем, кто проводил ее семью до порога.

– Люди добрые!.. – и она заплакала. – Думала, пришла погибель мне с детушками моими, а Бог решил иначе – попали в рай к людям-ангелам. Ни я, ни мои дети никогда не забудем вашей святой доброты, и мы станем так же помогать тем, кто окажется в беде. Низкий всем вам поклон от нас.

Уже Павла с Коськой пригнали стадо. И только теперь «божьи ангелы» разбрелись по своим дворам. Мама подоила корову, процедила молоко, наполнила крынку и сказала:

– Пойдем-ка, дочка, отнесем новоселам молочка.

Когда мы пришли к Наталье, вся семья сидела за столом, тут же был и пастух. Они с Коськой успели еще застать теплую баню. Нашелся у Павла и мыла кусок с «собачий носок».

Я тарасила глазенки на погорельцев и не узнавала их. Неужели это те зареванные, оборванные, что с такой жадностью хватали грязными руками яблоки и груши, привезенные на тележке для них моим папой. Мне тогда казалось, что они никогда не насытятся.

И вот сидит за столом Наталья... У нас в Бабаедове нет ни одной такой красивой бабы. А все дети такие чистые и счастливые, угощаются гостинцами, принесенными Павлом.

Наталья встала из-за стола и поклонилась маме, приняла крынку молока, хотела поцеловать ей руку, но мама не разрешила.

– Наталья! Неси свою судьбу с гордостью. Не унижай себя лишними поклонами и целованьем рук: таких людей больше уважают.

– Ну, как же иначе? Я была на краю гибели. Ни в одной деревне нас даже ночевать не пускали. А к вам судьба привела, будто в рай попали.

– Садись, Наталья, на свое место за столом. Вот что еще решили наши бабаедовские бабы: двойняшек окрестить в церкви, а крестным быть тебе, Павла. А кумой пускай будет Тайка-Стрекоза. Решили, думаю, мудро. Старый да малый – чем не кум да кума? С новосельем тебя, Наталья. Помоги тебе, Боже, в бабаедовском раю.

В нашу деревню изредка кое-кому приходили письма. На конвертах одни писали «д. Бабаедово», а другие – «Бобоедово». Вот пастух Павла, он же «хвилософ», и разъяснял:

– Думаю, история нашего пункта произошла таким путем: то ли здесь перво-наперво поселились бабы, любительницы добро поесть. Вот, к примеру, как наша Кандыбиха. А если «Бобоедово» через букву «о», тогда такое название пристало оттого, что все бабаедовцы засе-

вали клок земли бобами. Потому что у нас без бобов ни туды и ни сюды. Всю зиму в горшках парим да обедаемся. А если еще сдобрим их конопляным маслом с цыбулькой – живи, радуйся да воздух порти.

Не успели бабаедовцы опомниться от события с погорельцами, как снова гром среди ясного неба.

10

На рассвете в окно нашего домишки кто-то настойчиво и громко постучал. В доме переполох, мы все соскочили со своих постелей и, вслед за отцом прильнув к окну, увидели густобрового человека с очками на носу, утонувшего в просторном парусиновом плаще с капюшоном. Он сказал, что его фамилия Шафранский и что он – арендатор сада и дома бывшего владельца, пана Ростковского.

Когда Шафранский говорил, его брови, как две мохнатые гусеницы, прыгали то вверх, то вниз над оправой очков. Я хихикнула, но заметив, как потускнели глаза у мамы, как нахмурился отец, забыла о смешных бровях очкастого человека и отправилась в свою постель. «Наверное, черт принес этого дядьку, он мне совсем не понравился», – подумала я.

Папа с очкастым вошли в дом. Поправив очки на носу и поиграв чудо-бровями, мужчина протянул папе какие-то бумаги. Он прочел их и, горько вздохнув, сказал:

– Ну что ж, гражданин арендатор, владейте садом и домом. Вот вам ключи от парадной двери. Да, вот еще что... В пристройке, где жил конюх пана Ростковского, теперь поселилась вдова. У нее муж погиб в огне, когда горела их изба. У вдовы восьмеро детей. Их нельзя обижать, а тем более выселять.

– А где будет жить мой конюх Иван?

– А это уж ваше дело. Дом большой, найдете ему другое жилье.

Очкастый вновь поиграл бровями, спрятал бумаги в кожаный планшет.

– Мне сказали, что вы, Шунейко, большой специалист, садовник высокого класса. Если вы пожелаете, то оставайтесь и работайте. Об оплате договоримся.

– Поживем – увидим...

– И еще у меня к вам вопрос: не можете ли мне посоветовать какую-нибудь женщину, чтобы могла делать уборку, стирать? Словом, чтоб вела хозяйство в доме.

– Так лучшей помощницы в дом, чем вдова Наталья, вам не найти. Ее старший сынок уже работает подпаском у нашего пастуха, а две девчушки могут в саду помогать: они приучены к труду с малолетства. Встал на ножки – и дело есть по уму и силе.

– Ну, спасибо вам на добром слове. Там у меня две подводы со скарбом и придаток к нему – жена и дочка. Обе музыку любят, на пианино играют. Вот, вынужден был волочить сюда на телеге эту играющую «штуковину»: моим кошечкам – игрушка, а мне, как той бедной мышке – слезки...

Побежало времечко, побежало, где спотыкаясь, где рысью. Дела арендатора шли не больно весело.

Хлопот с садом, а главное, с урожаем, было невпроворот.

Наталья с детками оказалась для арендатора большой находкой. Пашка и Ромашка росли крепенькими. Яблоки, груши да сливы с крыжовником и смородиной пришлись малышам по вкусу.

А в ту памятную весну деревья, словно чувствуя свою гибель на этом благодатном куске земли, цвели с такой силой, будто купались в белопенной мощи цветения. Не было сил отвести глаза от этого чуда земного. Замирало сердце, хотелось броситься в белый омут и раствориться в нем. Вот я и бросилась, нырнула и, к своему удивлению, не растворилась, а прибежала к вековым липам, на свое любимое место, где можно было сидеть на окаменевших корнях и слушать часами пение малиновок и говорок ручья, что бежал по лужку без всяких преград и запретов. Из этого ручья мы пили воду, она была чистая и вкусная. И когда до моих лип оставалось пятнадцать-двадцать аршин, я юркнула за ствол старой яблони и замерла...

На моем излюбленном месте, обхватив голову руками, сидела Наталья и, раскачиваясь из стороны в сторону, причитала:

– Касьянушка, мой родненький, как же я тоскую по тебе, как же мне горько и тошно жить без тебя, мой любимый, мой единственный соколик. Приходи, желанный мой, во снах моих, уж как же я тебя повиличкой обовью, как же надышусь тобой, радость ты моя бесконечная. А очнусь от сладкого сна – пусто, только мокрая подушка от слез моих горячих... – Наталья поднялась, вскинула руки к голубой бездне небес. – Господь Великий! За что же, за какие такие великие грехи отнял ты у детей наших отца родного. Он же так любил их, деток наших. «Наталья, рожай, пока рожается. Вырастим всех». И хохочет, счастливый. Ой, Господь, нет больше сил. Нет мне жизни без тебя, Касьянушка-а-а, хозяин мой, – Наталья обняла липу, прижалась к теплой коре вековухи, плечи ее мелко дрожали. – Матушка, липушка, возьми ты мою боль-тоску смертную. Дай мне сил деток моих на ноги поднять!

Я, боясь обнаружить себя, мышонком юркнула под белую кипень яблонь: «Кусайте меня, пчелы, жальте, я вас не боюсь».

А вечером на диво огромная луна повисла над землей, над деревней Бабаедово и над сказочным садом пана Ростковского. Где он сейчас, пан Ростковский?.. Какая-то неведомая сила потянула меня к панскому дому. Окно у парадного крыльца распахнуто. За кисейной занавеской слабый свет подвесной керосиновой лампы. Но не это главное. Музыка... Волшебные звуки. Что это со мной? По спине поползли мурашки, а из глаз выкатились горошинами скупые слезины.

11

Из районного центра Рясно в Бабаедрово пришел человек. На носу очки, светлая чесучовая толстовка, в руке объемистый кожаный портфель. Его встретил у березовой аллейки Петр Звонцов, и они оба направились к моему папе. Поздоровались, и все трое присели на лавку во дворе под развесистым кленом.

– У вас нет ли кваску? Пить хочется.

– Как не быть, он у нас не переводится.

Но мама и сама догадалась напоить гостей квасом. Она спустилась с двух ступенек крыльца. В правой руке глиняный жбан с пенным квасом, в левой – корзинка с яблоками, поверх которых побрякивали три граненых стакана.

– Пейте, угощайтесь на здоровье, квасок с погреба, – пристроила принесенное на табуретке и неспешно удалилась, унося на спине роскошную косу.

Ряснянский гость налил себе полный стакан маминого кваса, жадно выпил, достал из кармана носовой платок, приложил к губам:

– Везет же редким мужчинам иметь этаких жен-королев.

– Случается иногда! – сказал папа и рассмеялся.

– Ну вот, граждане хорошие, квасу попили, хозяйку похвалили, пора и делом заняться. И не все бывает складным да ладным, как нам того хочется. Школу открыть в Бабаедрове не получается. Тут мы с Петром Звонцовым составили список детей, кто в эту осень пойдет учиться в Ряснянскую школу. Получается – шестеро парнишек и две девчонки, сестры Клавдия и Зинаида Лавицкие.

– А детей-погорельцев позабыли. Их в первую очередь запишите – Касьяна-подпаска да его старшую сестренку Полину. Остальная шестерка пусть доспевает до школы. Наталья ни одного не отдаст ни в приют, ни в детдом.

– Ну и баранья моя голова, не вспомнил про детей Натальи. – Петр постучал кулаком по своему лбу. – Спасибо, что напомнили про Богровых, да еще хотелось бы знать ваше мнение на следующий сюрприз: покалякали мы с отцами тех детей, что учиться пожелали в Рясно. По теплу пушай бегают хучь в обутке, хучь босиком. А вот по осени раскиснут дороги да посля завьюжит, заморозит, тут уж надо ребят отвозить в школу и обратно привозить. И решили мы, что один раз в неделю каждый родитель ответит свою очередь.

Папа сказал, что правильно решили.

– А что будет с панским домом, садом? – забеспокоился он.

– В дом на днях переедет районный суд. Наталью Богрову оформят сторожем и уборщицей. А сад?.. Саду больше не цвеств. Воинская саперная часть ведет железную дорогу Лепель-Орша. Думаю, что от этого сада не останется ни ножек, ни рожек. Такие вот дела, гражданин садовник, остаетесь вы без должности. Пока...

– Я к этому давно готов. Был бы конь, а хомут найдется.

И стало мне невыносимо грустно. Хотелось плакать. До моего отъезда в Кузьмино еще так далеко: половина лета. А ведь совсем недавно была весна, голубое небо, талые лужи, суетливые воробьи. Хотелось подставлять лицо солнечным лучам и радоваться, радоваться неизвестно зачем и чему. Иногда судьба дарила нам в Бабаедрове яркие события, и тогда все вокруг оживало.

Из года в год в начале апреля приезжал в нашу деревню китаец Ходя. Телегу с зеленым сундуком, в котором – мы точно знали! – хранились несметные сокровища, тащил маленький мохноногий конек, на которого Ходя то и дело покрикивал:

– Ходи-ходи, коня, веселей – Ходя велит! Но конек – где и взял такого? – на то, что велел его хозяин, не обращал никакого внимания и шел как шел, и телега скрипела, и ее немазаные

колеса катились медленно, то поднимая пыль, то увязая в грязи, а коробейник весело кричал свою зазывную, и звонкий тенор Ходя был слышен в каждой деревенской избе, приводя в великое волнение весь наш бабаедовский люд:

– Мамка, бабка, выходи! Всяка тряпка выноси! Кости, яйка покупаю, на красна товар меняю...

Был Ходя возраста неопределенного, роста среднего. Его темные живые глазки на смуглом лице бегали проворными мышками, а губы замерли в вечной улыбке, обнажая крепкие белые зубы. Он улыбался даже тогда, когда его кто-нибудь – находились такие шутники – обижал то ехидным словом, то какой несуразной выходкой, и непонятно было: обижался Ходя, скрывая неприязнь к шутнику, или делал вид, что ему такие обиды – меньше укуса комара.

Никто не знал его настоящего имени – Ходя и Ходя... Так его звали все в округе, и надо сказать, был он желанным гостем в наших деревнях в те времена. Появление коробейника Ходя с его сказочным коньком-горбунком и зеленым сундуком на телеге доставляло деревенским жителям огромную радость.

В каждой деревне у него было облюбовано определенное место для стоянки. В нашем Бабаеде это была старая могучая липа, что росла возле бывшего панского амбара. На дверях амбара висел огромный замок, поржавевший от времени. Его давным-давно никто не отмыкал, потому что в амбаре было пусто с тех пор, как помещик Ростковский с семьей после революции бежал, и мужики все из амбара и помещичьего дома растащили.

Я товар свой продавай,
Мамка, бабка – покупай,
Подходи, жених с невеста,
Ходя тут, на свое место,

– зазывал всех коробейник Ходя и суетился возле сундука. К липе сходилась народ, подходили старухи, молодайки бабы, девки на выданье. Поглядеть товар желали и степенные мужики, и парни молодые, озорные. А уж насчет ребят, особенно мелюзги малолетней, и говорить не приходится – будто мухи на патоку слетались.

Коробейник обводил веселым взглядом покупателей, сверкал белыми зубами и... открывал сундук!

Боже ты мой, чего тут только не было! Крышку сундука Ходя укреплял, и она превращалась в витрину – такую яркую, такую нарядную, что и слов не найдется, чтоб ее описать. Внутренность крышки сверкала, полыхала яркими красками всех цветов, глаза разбегались, сразу все хотелось купить. Ну, а если уж о покупке и мечтать невозможно было, то хотя бы дотронуться до одного из чудес, выставленных напоказ. Бусы, гребенки, платочки головные белые и пестрые, нарядные шелковые шали, сережки, броши, перстеньки с камушками цвета красной смородины, зеленой травы, синего неба. А мыло душистое – «Земляничное» и «Букет моей бабушки»! От него шел такой аромат, что хотелось глаза зажмурить. Лежали на полочке, как сказочные диковины, пудра, румяна, швейные иглы, вязальные спицы, пуговицы, нитки разных сортов и оттенков, ленты яркие атласные, кружева, бархатки; висели на шнурке пояса лакированные с ажурными пряжками под серебро и золото, крючки рыболовные...

Пока еще никто ничего не купил, не выменял, а мужик Кукарека уже тут как тут! Принес тощенькую торбешку с овсом и подвешивает на морду мохноногому коньку. Ходя, бросив взгляд на торбу, определял количество овса и говорил:

– Мало корош, Ванька Кукарекай, – и протягивал ему пачку махорки и коробок спичек. – Такой мало овеса, совсем надо мало махорка, половина пачка надо. Будешь должнай мне, – и поворачивался к Кукареке спиной, давая знать, что с ним разговор закончен.

Кукарека отходил в сторону и, усевшись на бревне под окнами ближайшей избы, закурился, пуская устрашающие клубы дыма. Видно было, что он доволен выгодной сделкой. К нему подсаживался один из молодых парней, хитро подмигивал стоявшим поодаль товарищам и, делая несчастное лицо, клянчил:

– Дядь, Кукарекай! Дай Христа ради махорочки на одну сигарку.

– Кукарека, Кукарека... – дергался тот, как от укола иглой, отодвигался от озорника и переходил на крик. – Я за махорку полпуда овса отдал, а ты – дай на сигарку! Много вас наберется сигарки клянчить. Пшел отседова...

– Подохну от молодого смеха – полпуда овса! Ох и брехун ты, дядя Кукарекай. В твоей торбешке и двух фунтов не было, я ж видел. Обдурил ты Ходю, обдури-и-л.

– Может, и обдурил! Не все ж ему нас дурить. А ты иди своим путем, не будет тебе сигарок...

– Ну хоть курнуть разок дай.

Кукарека, решив, что не отвязаться ему от этого нахала, протянул сигарку. Но тут подлетели к парню его товарищи, и каждый по очереди курнул, так что вмиг от сигарки ничего не осталось.

– Нет на вас холеры, жеребцы... – закричал Кукарека.

«Уди-и-и, уди-и-и-и...» – разнеслись знакомые звуки. Это один из мальчуганов что-то выменял на шарик с деревянной трубочкой и поднял на радостях «удиканье» на все торжище, но тотчас же был изгнан бабками и мамками, чтоб не оглушал. Следом за изгнанным, но счастливым мальчишкой потянулась ватага ребятишек в надежде, что и им удастся хоть один разок «удикнуть», чтоб отвести душу.

Как только Ходя замечал, что торговля шла на убыль, он тут же пускал в ход свой коронный трюк: выхватывал из сундука какой-нибудь новый товар, специально для этой цели припрятанный, и потрясал им с такой ловкостью, так заманчиво и красиво демонстрировал, что мамки, бабки, девки бежали в свои избы и выгребали все, на что можно было выменять у коробейника эти чудеса, которыми он их околдовывал, и без коих, как им казалось, жить невозможно.

У нас же никакого утиля не было, ни одна льняная или шерстяная тряпица у мамы не выбрасывалась, все шло в дело. Деньги и подавно не водились, яйца не накапливались, сало было на вес золота – я это знала, а потому спокойно стояла в сторонке и плела венки из цветков мать-и-мачехи, не смея и мечтать о сокровищах из зеленого сундука коробейника. И вдруг я увидела, как к телеге подошла мама. Она что-то сказала Ходю и протянула ему бутылку конопляного масла. Ходя, все так же улыбаясь, закивал головой, запустил руку в деревянный ящичек и подал маме два пакетика с нарисованными на них огненно-красными солнышками.

– Самый корош краскай, самый лучшай, мадама! – говорил Ходя и кланялся, скреживая на груди руки.

– Мало мне двух порошков, Ходя. У меня затея большая, – сказала мама, вытащила из кармана передника горсть крупных головок чеснока и бережно выложила их на ящик, куда все меняльщики выставляли свой товар на обмен. – Добавь, Ходя, хоть еще один порошок за мой чеснок.

Мамин чеснок мигом, как по мановению волшебной палочки, исчез.

– Корош, мадама. Ходю нет жалей пакетку такой красивой мадама. Ходю нет жалей два пакетку! – и протянул маме еще два пакетика.

Я думала: «Зачем маме эта краска? Какая у нее большая затея?»

И тут мама позвала меня:

– Пойдем, дочка, домой. Помогать мне будешь.

Я нахлобучила на голову венок и последовала за ней, но не успела сделать и десяти шагов, как услышала громкий окрик Ходи:

– Барышень в венок на голова! Подходи на минутку... Я замерла, не веря, что Ходя обращается ко мне.

– Вот тебе подарка Китай! – и он протянул мне... Нет, это невозможно, такое может быть только во сне! – он протянул мне веер сказочной красоты, настоящий кусок радуги! Я стояла ошеломленная, не решаясь его взять. Бабы зашумели:

– Да бери, раз дают, а беги, когда бьют.

– Подарок тебе делает Ходя...

– Вишь, понравилась ты ему с венком.

Я сняла с головы венок и, приподнявшись на цыпочки, положила его на ящик. Ходя подхватил венок, надел его на свою смоляную голову и подал мне веер. Я бережно прижала его к груди. Теперь уже за мной потянулась ватага девчонок в надежде на то, что и они подержат в руках этот бумажный чудо веер и помашут им у своих веснушчатых носов.

... Мамина большая затея началась. Она разожгла во дворе под железной треногой костер. На треноге уже стоял самый большой котел, наполненный водой. Когда огонь набрал силу, мама велела мне смотреть за огнем и подкладывать дрова, пока вода не закипит. Помощниц у меня оказалось – хоть отбавляй! Восемь девчонок окружили треногу с котлом, и каждая старалась подбросить полено дров, пошевелить головешки. Но, конечно, не эта работа заманила их в наш двор, а веер! Девчонки по очереди держали его в руках, обмахивались на все лады и азартно спорили между собой о том, что Катька махнула им десять раз, Зинка – пять, Фенька только три раза успела махнуть, а Зойке никак не удастся завладеть веером. А вот Фрося уже два раза по пять раз махнулась! И вот когда веер оказался в руках красавицы Наташки и она, как настоящая принцесса, не спеша и грациозно взмахнула им у своего ангельского личика, Верка Мурашкина, не выносившая Наташку из-за ее красоты, не сдержалась и проявила свой вредный характер. За этот характер девчонки недолюбливали Верку, в свои игры принимали неохотно и часто в разгар игры изгоняли ее за какую-нибудь выходку.

Вырвав у Наташи веер, Верка побежала вокруг костра, размахивая им и приплясывая, шепеляво горланя при этом:

Посли девки на базар,
Стоб купить себе товар,
Товару не купили —
Дулю получили!

За Веркой гонялись девчонки, требуя вернуть веер и грозя надрать ей уши. Но Верка ловко увертывалась от девчонок и расставаться с веером не собиралась. Наконец, они догнали ее и, окружив плотным кольцом, стали щипать и дергать за волосы. Верка заорала и швырнула веер... в огонь.

Вся шумная компания замерла. Первой опомнилась Верка и пулей рванула со двора. За ней умчались все остальные. Одна Наташа не двинулась с места, она испуганно глядела на огонь. В огне горел мой веер. Он вспыхнул так быстро, что я не сразу осознала весь ужас случившегося. Потрясенная, я опустилась на землю и заплакала. Вместе со мной плакала и Наташа.

Наташа была не только красивой, но и очень доброй. У нее можно было выпросить все: яблоко, краюшку хлеба, морковку, пестренькое стеклышко, новую тряпочку на платье для куклы. В деревне говорили про нее, что она «панского роду». Однажды я спросила у бабушки Михалины, почему Наташу называют «панским родом», а она ответила: «Будешь много знать, скоро состаришься...» Стариться я не хотела, и потому больше не стала интересоваться происхождением Наташи. «Раз ее мама была прислугой у панов, так и Наташка стала панским родом», – рассудила я.

Пока мы с Наташкой ревели, вода в котле закипела. Из дома вышла мама и сразу поняла, что случилось. Поставив таз с каким-то мокрыми белыми тряпками на землю, она вылила из банки в кипящую воду огненно-красную краску, помешала в котле палкой и опустила ворох мокрых тряпок в котел. Все это было бы очень интересно, если бы не сгоревший веер...

– Верка, что ли, расправилась с твоим веером? – спросила мама.

– Верка! – я заревела еще громче и убежала со двора, унося в сердце обиду на всех девчонок, а особенно на вредную Верку.

«Ну зачем, зачем она сожгла мой веер?» – думала я и бродила по задворкам до тех пор, пока ноги не принесли меня к сараю, где отец и братья мастерили грабли. Вернее, отец мастерил, а братья ему не столько помогали, сколько мешали, но у отца было правило: что бы он ни делал, мальчишки должны быть вместе с ним, учиться у него.

– Чего реवेशь? – сразу же налетел Антошка. – Кто обидел?

– Верка Мурашкина веер спалила-а...

– Какой еще веер?

– У Ходи на веноч выменяла-а, китайский ве-е-ер!..

– Не будешь ворон считать, наука тебе, чтоб с Веркой не водилась. Принеси мне во-он ту орешину, что в углу стоит, сделаем и тебе грабли – залюбуешься. Это не какой-нибудь веер из папиросной бумаги! И нечего реветь. А Верка пускай мне на глаза не попадается...

Незаметно я тоже включилась в работу, и на душе стало легче, слезы высохли, а веер оказался так далеко, что вроде бы его у меня и вовсе не было, – как будто приснился. Я вспомнила о маминной затее и что есть духу побежала в наш двор. Оказалось, что Наташа никуда не отлучалась, а сидела у затухающего костра и с интересом наблюдала, как моя мама лучиной вытаскивала из котла выкрашенные лоскуты и опускала их в бадью с чистой водой. Я села рядом с Наташей.

Мама, выполоскав красные лоскуты, развесила их на веревке в тени. Во дворе стало празднично, будто в день Первомая. «Может быть, уполномоченный попросил маму нарисовать эти лоскуты, чтобы сделать флаги? «– осенила меня догадка. Недавно он приезжал к отцу, привез ему какие-то бумаги и сказал, что мой отец является первым коммунарком, что он обязан охранять бывший панский сад – двадцать одну десятину, панский дом и амбар. Все это пригодится для новой жизни всему народу. А еще он оставил отцу ружье... Из-за этого ружья мама плакала и говорила, что теперь не сносить отцу головы.

По ночам мама что-то шила на старенькой машинке «зингер» и никому не показывала, что она шьет. Мы считали дни, оставшиеся до Первомая: четыре, три, два...

Утром жарко пылали в большой русской печи березовые дрова. Перед пламенем стояли чугуны: один – с картошкой, второй – со щами, в третьем парились бобы. В квашне подходило тесто на хлеб.

Дни, когда мама пекла хлеб, – самые лучшие дни! Вот прогорели дрова, но угли еще красные, хотя их и покрывает голубой прозрачный налет золы. Пришло время кочерге потрудиться. Мама ловко и быстро загребает жар на загнет. Теперь очередь помела – кудрявого венника из сосновых веток, привязанных к длинному деревянному черенку. Надо чисто подмести под в печи. По избе распространился запах хвои, смоляной дух леса. Мама окунает помело в бадью с водой и опять – в печь. Под стал чистым, гладким. Мама бросает на него горсть отрубей и наблюдает, как эти отруби себя ведут. Она знает секрет, когда пора сажать хлеб в печь, а когда еще рано – подгорит. Но вот брошенная на под горсть отрубей подсказала – пора!

Тут уж и мне есть работа: насыпаю на деревянную лопату муку, смешанную с отрубями. Мама выхватывает из квашни ком теста, лепит из него круглый шар, перекидывая с ладони на ладонь, и опускает этот шар на лопату. Перекрестив будущий каравай, она мечет тесто в печь, аккуратно укладывая в левый угол. Четыре караваев в заднем ряду, четыре – в переднем. Печь закрывается заслонкой.

Усталая, садится на скамью, по лицу скатываются капли обильного пота, оно красное от жара печки, а руки – белые, с остатками теста и муки на пальцах – легли на стол, и мне вдруг показалось, что это не мамины руки, что мама с опаленным лицом сидит отдельно, а чужие руки лежат на столе тоже отдельно. Я закрыла глаза, по спине побежал холодок.

– Ну вот, дочка, хлеб есть, значит, и праздник есть! – устало говорит мама.

Назавтра мы занялись уборкой: потолок, стены, окошки мыли щелоком – водой с настоем золы, пол Антошка и мама шоркали голиками с дресвой, а я тряпкой смывала песок с половиц и, меняя воду, вытирала досуха.

Закончили уборку поздно вечером, вымылись горячей водой в сенях и, натянув чистые рубашки, уснули: из пушек пали, – не проснулись бы. И все же в день Первомая не заспалась допоздна. За окошком горланил петух, кудахтали куры – какая какую перекудахчет. В избе было чисто, пахло мятой. Сквозь коротенькие ситцевые занавески струилось солнце нового весеннего дня.

– Леня! – позвала мама младшего сына. – Поди в кладовку, папа зовет.

Ну мало ли зачем позвал папа трехлетнего Леню! Братишка убежал на зов в своей короткой рубашонке, а мы не торопились встать: наслаждались законным отдыхом ради праздника. И вдруг нашей дремы как не бывало – к нам в закуток вбежал Леня и крикнул: «Пляздявляю с Пелвым маем, ула!» Мы во все глаза уставились на брата: ярким пламенем полыхала на нем красная рубашка-косоворотка с белыми пуговицами, подпоясанная витым пояском с кисточками. Леня, засунув руку в карман новых домотканых штанов, вертел аккуратно подстриженной головой, сверкал счастливыми глазами.

– Сашка! Иди к папке тепель ты... А вы ждите своей очеледи.

Через час все мы, в пух и прах разодетые, сидели за праздничным столом, ели горячие картофельные лепешки с жареным салом и запивали морковным чаем, забеленным молоком. Когда с завтраком было покончено и все поднялись из-за стола, мама подошла ко мне, опустила руку в карман своего передника, вытащила... стеклянные бусы и надела их на мою тонюсенькую шею. Не успела я ахнуть, как мама извлекла из того же волшебного кармана... веер. Когда я, наконец, пришла в себя и бросилась обнимать маму, она сказала:

– Это отец тебя балует, он сходил к Ходу и принес тебе бусы и веер. Ему говори спасибо...

Отец во дворе прибывал к древку красный лоскут-флаг. Я подбежала к нему, обняла за шею и прижалась к колючей щеке губами.

– Вот, может, когда и вспомняешь батьку своего... Пусть Антошка берет флаг да и идите с песнями, как в городах ходят...

И вот мы на улице. Братья в красных рубахах-косоворотках, я в красном платье, у всех карманы, простроченные белыми нитками, у всех пояса, которые мама сделала из обыкновенной веревки, расчесав концы гребенкой. И пояса, и штаны красились краской из ольховой коры: у нас в деревнях издавна красили пряжу и холсты в коричневый цвет ольховой корой. В руках моих веер – кусок радуги, на шее бусы искрят и переливаются огоньками на ярком солнце. Антошка высоко поднял древко с красным лоскутом – флагом и шагнул со двора, за ним – все мы.

На улицу высыпал народ, к окнам прильнули старухи – беззубые рты до ушей.

– Ой, гляньте, гляньте, люди добрые! Красные Шунейки с флагами идут!

Подбежала Наташа и засеменила рядом со мной. От избытка радостного чувства, переполнявшего мое сердце, я тут же протянула ей веер.

– Помахайся им маленько, пускай вредная Верка увидит... И только Наташа взяла в руки веер, как из-за забора раздался Веркин голос:

Красные Шунейки
Нашли полкопейки,

С флагом шагают —
Старых пугают.
А их батька-коммунар
Стережет пустой амбар.
Красные Шунейки...

Антошка погрозил кулаком в сторону забора, за которым пряталась Верка, и она сразу замолкла.

Вскоре к Антошке примкнули его ровесники, а за нами потянулись ребята поменьше. И вот уже шагает по улице ребячья ватага, поднимая босыми ногами пыль. Так прошли мы с флагом до конца деревни, а когда повернули обратно, Антошка приказал:

– Сейчас будем петь, чтоб все пели! – и затянул: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног...»

Больше ни одной строчки Антошка не знал и потому повторял только эти две, а мы за ним тянули на все лады, стараясь перекричать друг друга, ошеломляя бабаедовский люд.

Как же давно был этот наш первый Первомай, как же давно все это было...

И арендатор Шафранский тоже остался без дел. Он сидел ссутулившись, вздыхал и проводил правой рукой по лицу, будто пытался избавиться от чего-то, неприятно налипшего.

– Не знаю, чем заняться. Надо же мне моих двух кошечек кормить. Играйте, мурлыкайте, а кушать надо. И чтоб чашечка какао и булочка белая. Надумал лавчонку открыть в Обольцах, да только разные сомнения одолевают, – поиграли брови-гусеницы.

Из умывальника кап-кап.

– А вы, пан Шунейка, никуда не собираетесь из Бабаедова?

– Куда мне без всякого капитала. Всего и накопил – четверо детей, два сына в Бабаедове родились... Только-только на ножки поднялись. Да я без земли и сада – перекасти-поле. Дети, как и деревца, на земле-матушке на ножки поднимаются. В эту осень Антошка в Ряснянскую школу пойдет – три версты в Рясно, три – домой. Не каторга, бегай и учись. А будешь отлынивать, буду пороть, как и пасынка Павлика порол. Недавно письмо прислал, еле разобрали, что он там нацарапал. Воюет, кавалерист красный. Два года себе прибавил, поверили – этакий бугай вымахал. Пишет: «Спасибо тебе, отчим, что порол за лень и дурь. Как бы мне сейчас грамота пригодилась...» А дочка моя, Тоня, – папа обнял меня за плечи, прижал к себе, – поедет через год в Кузьмино, там у нас дальние бездетные родичи. Я уже договорился с ними. Будет душа спокойна, что досмотрена и накормлена, а главное, пойдет в школу. Там в бывшем панском доме школу – четырехлетку открыли. У нас отказали, хотя и обещали, а в Кузьмино открыли. Грядут, пан Шафранский, трудные времена...

– А у меня, пан Шунейка, одна доченька, и та былинка. Гены жены передалась – хрупкость и музыка. И никогда моя любовь не сможет родить мне сына, помощника.

– А мне Бог дал трех сыновей, да еще двух пасынков вырастил, а где помощь?.. То смута, то война. Заберут хлопцев, кинут в огонь, загубят сыночков наших, искалечат, а нам, родителям их, слезы и боль до последнего дыхания.

– Правда ваша, пан Шунейка. И эта железная дорога неспроста. Довелось поговорить с одним человеком из Лепеля, обрисовал строительство: паровоз задним ходом по уже уложенным рельсам подгонит две платформы – одну с песком, другую с рельсами и шпалами. Солдаты разгрузят, а паровоз гукнет да и пойдет за следующей партией груза. Ну, и что я вам скажу: солдаты, как те муравьи: тачки с песком в руки и пошли шнырять взад-вперед – насыпь делают. Пот с них градом. Голые по пояс, а еще и песню поют:

Эй, живо, живо,
Сапер, строй дорогу.

Дорога Лепель – Орша,
Чтоб не бузила Польша.

Мне все интересно, что рассказывает арендатор. А папа молчит. Очень хочется, чтобы Шафранский еще что-нибудь рассказал. К моему удовольствию, брови у него задвигались часто-часто:

– Надо вам эта дорога – стройте! А только почему для нее другого места не нашлось, как этакий добрый сад?! Думал, проживу спокойно. Не дали. Свертывай удочки и отправляйся, куда твои очи глядят. – Шафранский вздохнул. – Поеду в Обольцы.

Я поняла, что никогда больше не повторится та лунная ночь, когда пенился от шального цветения сад пана Ростковского и из распахнутого окна уплывала в вечность дивная музыка...

После ухода Шафранского, удрученная, я отправилась к своим любимым липам. Сажу на окостенелых корнях, думаю: « Попрошу папу, чтобы он не порол Антошку, мне его жалко. А еще мне страшно ехать в Кузьмино и жить у родичей. Я же их никогда не видела. А какая там школа, какая учительница? А если сердитая и станет бить линейкой по рукам, и все дети незнакомые и начнут дразниться?.. Страшно! Пойду полоть гряды. Пойду к маме. Как хорошо, что есть у меня дело...

12

Уже вечерело, когда на пороге нашей избы появилась девчонка лет девяти с узелком в руках. Босоногая, белобрысая, с густой россыпью веснушек на курносом лице, она смотрела на нас, а мы на нее.

– Не признали? Я Юлька Добрынина. Вот в гости к вам у мамы отпросилась, – сказала эта неожиданная гостья и прижала к себе узелок, будто испугалась, что вот-вот его вырвут и растерзают.

Первой заговорила мама:

– Это как же тебя, Юлечка, отпустили в такую дальнюю дорогу одну? Шутка ли – двадцать верст да лес... Ты что же, пешком?

– До Пурплива знакомый дядька подвез, сначала обещал, что к вашему дому доставит, а потом говорит: «Добежишь, не маленькая, тут всего три версты, а мне неохота крюк делать...» Вот три версты и бежала...

Мама озабоченно посмотрела на всех нас, ее детей, потом на Юльку и вздохнула:

– Ну и ладно, что все обошлось. Отдыхай с дороги. – И тут мама расцеловалась с Юлькой по-родственному, подвела ее к нам. – Вот, Юля, знакомься с моей оравой – твоими двоюродными! – И мама, назвав каждого из нас по имени, ушла во двор к печке-временке готовить ужин на семью, к которой прибавился еще один едок.

Мы не стали целоваться с Юлькой по-родственному, а просто смотрели на нее и молчали. Она села на лавку у окна и тоже смотрела на нас и молчала.

До сегодняшнего дня мы Юльку никогда не видели, но знали, что она одна у своих родителей, тети Глаши и дяди Саввы, что ее балуют – спасу нет и что из этого ничего путного не может выйти, потому что, как сказала бабушка Михалина, чем больше детей балуют, тем большие рога отрастают на их лбах. Но на Юлькином лбу никаких рогов пока не было.

Первым нарушил молчание старший брат Антошка:

– Небось, дрижики тебя хорошие пробирали, когда в Волчий ложок спускалась? Там во-о-о! – матерый пшастает. Ау-у-у-у...

Юлька стрельнула зелеными глазами Антошку и бойко огрызнулась:

– А матерый не меня, а тебя дожидается в логу, у него этим летом аппетит на брехунов.

Антошка никак не ожидал такого дерзкого выпада со стороны своей двоюродной сестры, растерялся и замолчал. На выручку старшему брату пришел пятилетний Саша:

– А ты, Юлька, наша гостья, как сядешь за стол, не подавись костью.

– Сами вы не подавитесь своими костями, а у меня крендели есть, маманя в дорогу напекла. – Юлька пристроила на коленях свой узелок и, развязав концы, запустила в него руку. Пошарив там, вытащила крендель с двумя завитушками, такой золотисто-румяный, на сметане замешанный, посыпанный сверху сахарным песком и маком. Ах, этот Юлькин крендель – одно расстройство! Сколько же их в узелке? Такие крендели мы пробовали – по одному, иногда по два на брата – только раз в году, на самый большой праздник. Распространился дивный аромат, мы впились глазами в этот чудо – крендель, но Юлька, повертев им перед нашими носами, понюхала его, лизнула и... опять засунула в узел.

– Это что же, она издевается над нами?

– Это ты не подавись своим кренделем, когда еще раз будешь его лизать. А у нас никаких костей нет, чтоб ими давиться. Сейчас будем картошку с редькой лопать, – сказал Антошка и победителем вышел из избы.

Приехал отец, он ездил на кузницу в соседнее село, привез целый ворох разных железяк, нужных ему в хозяйстве.

– Папа! А к нам Юлька в гости приехала! – сообщили мы хором.

– А у нее в узле крендели, только она нам не дает, – пожаловался Ленья.

– Подумаешь, крендели. От них зубы будут болеть. Сейчас будем ужинать, горячую картошку с редькой уминать – вот это еда! – Отец потрепал вихры своих младшеньких и пошел к медному рукомоюнику, долго мыл лицо, руки, утерся рушником и дал команду: «Всем за стол!»
«А Юльке протянул руку:

– Здравствуй, гостья! Как мать с отцом, здоровы ли?

– Со серединки на половинку, когда и поохают, то поясница, то голова. А так здоровы, болеть им некогда, – обстоятельно пояснила Юлька.

Все расселись за большим, чисто выскобленным столом. Мама внесла глиняную миску-великаншу с горячей картошкой, рядом поставила на стол еще одну – с редькой, нашинкованной в виде лапши и разбавленной хлебным квасом. Картошку она полила льняным маслом с подрумяненным в нем луком. Отдельную тарелку поставила только Юльке – она гостья, ей же мама вручила «блискучую» ложку, мы же расхватили свои деревянные, вырезанные для нас отцом.

Юлька первая своей блискучей положила в белую тарелку с голубым цветочком на доньшке три картошины, подумала и выбрала еще одну – самую большую. Мы следили за каждым ее движением. Отец нарезал хлеб. Резал он его так бережно и аккуратно, что ни одна крошка не упала не только на пол, но и на стол. Дав каждому из нас по ломтю хлеба, остаток караява отец убрал со стола, прикрыв его чистым льняным полотенцем.

Во время еды Юлька поглядывала на Антошку, а Антошка на Юльку, и вдруг втихаря, скатав хлебный шарик из мякиша, Антошка запустил этим шариком в свою двоюродную. Напрасно он надеялся, что наш отец не увидит, не заметит недозволенного озорства по отношению к хлебу. Антошка не успел и глазом моргнуть, как отец, привстав, припечатал его по лбу своей увесистой ложкой. Мне стало жалко брата, так он покраснел и сник. И тут Юлька молнией метнулась из-за стола и, схватив свой узелок, лежавший на подоконнике, развязала его и начала выхватывать крендели. Два первых она бережно положила на стол рядом с ложкой отца, по одному дала всем нам, а перед Антошкой выложила все остальные – их было пять! Стрельнув глазами на Антошкин лоб, заметила:

– Гузак растет, синий! Приложи железку, – и успокоила: – До свадьбы заживет! Наш дед Фадей так же ложкой по лбам своих внуков трескает, чтоб за столом сидели и не пикнули.

Юлька гостила у нас месяц. Она научилась ездить верхом на лошади, ловить раков, выуживая их из-под коряг, таскать карасей плетеной корзиной-ловушкой с приманкой на дне и запекать их на костре, тщательно обмазав глиной; ничего вкуснее, по ее словам, она никогда не едала. Научилась она и плавать, а однажды чуть не утонула на наших глазах, если бы не Антошка.

Случилось это так: Юлька поплыла не к середине сажалки, где вода была почище, а вдоль берега. Ноги ее запутались в водорослях, Юлька испугалась и, хлебнув воды и дико тараща глаза, закричала что было сил. Антошка схватил доску – мы ее давно притащили сюда, чтоб держаться за нее, когда барахтались в воде – швырнул ее Юльке и сам поплыл к ней, командуя:

– Ты за меня не хватайся, утопишь и меня. Держись за конец доски двумя руками... Да не ори ты на весь белый свет, разоралась...

Наконец-то Антошка прибуковал доску вместе с Юлькой к берегу.

– Полезла в бузу, места ей на чистой воде мало, – ворчал Антошка. – Хорошо, что водяник за ногу не цапнул и не уволок...

Юльке везло на всякие приключения. Однажды мы пошли на луг рвать щавель, особенно много его было около маленькой березовой рощицы, излюбленного места ворон. Все верхушки берез были унизаны вороньими гнездами. И надо же было Юльке наткнуться на лугу на выпавшего из гнезда вороненка! Она его схватила, прижала к себе и решила притащить в избу. Но вороненок поднял крик – и тут началось... настоящее светопредставление! Стая ворон, такая

огромная, что нас охватил ужас, подняв невообразимый гвалт, начала пикировать на Юльку, норовя заклевать ее насмерть. И опять же Антошка спас ее. Он выхватил вороненка, отбросил его как можно подальше, а нам велел свернуться клубком на траве, и сам завершил эту кучумалу, прикрывшись сверху мешком со шавелем. Через какое-то время стая успокоилась и разлетелась, а мы во весь дух бросились бежать подальше от этого вороньего царства.

Когда мы рассказывали своим родным о Юлькиных приключениях, они не охали, не возмущались и не тревожились. Отец и мама молчали, а бабушка Михалина спокойно советовала:

– Пускай привыкает к жизни, жизнь-то во-он какая большая, и в ней всякого сполна достанется.

Юлька так привыкла и прижилась у нас, что о своем доме и не вспоминала, будто не было у нее отца с матерью, будто не хотелось ей пшеничных блинов со сметаной, сала или ветчины, яичницы с маслом, сахарных кренделей... Ее вполне устраивала жизнь, которой жили мы, – без всяких телячьих нежностей и обильных разносолов. И когда вдруг, как снег на голову, появилась на нашем дворе серая лошадь, и на возке восседали ее родители: тетя Глаша и дядя Савва, гостя наша в лице переменилась, отошла в сторону.

– Все равно не поеду, все равно не поеду домой, – бубнила она под нос и не спешила в объятия родителей.

Тетя Глаша пошарила в бричке и вытащила белый холщовый мешок.

– Эй, артель, подотри сопли и налетай на гостинцы!

Дважды нас не надо приглашать, мы столпились около мешка и ждали, пока она его развяжет, а, заглянув внутрь, ахнули: в нем были сахарные пряники, крендели, пышки! Все это издавало неземной аромат, и всего этого добра было в мешке так много...

– Это все вам, отводите душу! – она посмотрела на Юльку, та стояла в сторонке и никак не реагировала на материнский гостинец. – Ты, дочка, что стоишь, как одичалая, не радуешься, что приехали за тобой? Аль материнных кренделей нет аппетита попробовать?

– Не хочу кренделей, не радуюсь. Не поеду домой, не хочу на ваш хутор!

– Вот это да! Ты слышишь ли, батька, что говорит наша дочка единая, любимая? Не хочет ехать с нами, хочет остаться в тетушкиной артели.

Дядя Савва, подвешивая к лошадиной морде торбу с овсом, глянул на Юльку, улыбнулся.

– Поедет, пожалеет отца с матерью. Нам ведь без нашей дочки тоже несладко живется.

Взрослые ушли в избу, там бабушка Михалина и мама уже накрыли на стол. Кипел самовар. К нашей картошке, зеленому луку, овсяному киселю, гороховой каше гости прибавили два солидных куска сала с чесноком и тмином, горшок сметаны, крынку меда, ведро творога и два каравая белого хлеба.

У взрослых в избе свое застолье, у нашей «артели» – свое во дворе. Нам, кроме кренделей да пряников, поставили еще решето желтых, пахнущих медом слив и короб с яблоками и грушами. Это был пир! А когда он подошел к концу и все добро исчезло из холщового мешка, из решета и короба, и тетя Глаша с дядей Саввой засобирались домой, Юлька исчезла. Мы бросились на ее розыски, но сколько ни аукали, сколько ни искали, Юлька будто испарилась. Тогда бабушка Михалина подозвала Антошку и что-то долго шептала ему на ухо по секрету. И Антошка, насупившись, молча ушел и вскоре привел Юльку. Она сразу же уселась в бричку, закрыла лицо ситцевым платком, который ей подарила моя бабушка, и не открылась даже тогда, когда серая лошадь вынесла бричку со двора.

Вот и уехала Юлька, и было нам очень грустно. Когда мама спросила у Антошки, где же он ее нашел, он не ответил, а повернулся к нам спиной и пошел к березняку, к вороньему царству.

13

Это была единственная и, к нашему огорчению, последняя неделя. Через две недели после отъезда Юли с тетей Глашей и дядей Саввой пришла к нам очень старенькая бабушка. Мама ее узнала, усадила за стол. Старушка отщипывала маленькими кусочками ржаную лепешку, жевала беззубым ртом, а руки ее ходили ходуном, когда подносила кружечку с молоком к своим дряблым губам.

Насытившись, Манеса Егоровна перевернула чашку вверх дном и начала рассказывать:

– Спозаранку подъехали к хутору твоих троюродных Саввы с Глафирой два конника с ружьями и трое коней с телегами. На них люди, кто в солдатских шинелях, а два цивильные. Объявили, будто бы они продотряды, и стали все подряд выгребать из дома: одежду, обувь, одеяла, подушки, белье – все подчистую из кладовых, из амбара, из хлева. Увели вороного жеребчика, двух дойных коров, кабана пристрелили, артелью заволокли на телегу. А Глашка с Саввой Юльку к себе прижали и стоят, будто окаменелые. Только собаки беснуются, от лая охрипли, пена изо рта. Один, видно старший, дает команду: «Да пристрели ты их, надоели. Что уставился? Стреляй, Холяк!» Ентот Холяк и стрельнул в одну, а тут же и в другую. Юлька рванулась: «Сволочь!» – кричит. Ну, тот, что собак пострелял, как заорет: «Цыц ты, рыжая, не то и ты пулю схватишь. Ишь, жируют на хуторе, а в городах рабочие, дети с голоду пухнут, пачками умирают...» Глашка схватила свою Юльку, к Савве с ней прильнула. Тут обоз с добром ваших троюродных и тронулся в дорогу. Остались стоять, будто живой памятник в опустевшем разграбленном дворе. Вот такая беда приключилась. – Старуха протянула руку, взяла яблочко. – Хороший дух от яблочка. Антоновка?

Мама, кивнув головой, краем рушника осушила слезы:

– А где ж они теперь?

– А кто ж это знает. – Старуха беззубым ртом высасывает мякоть печеного яблока. – Говорили, будто бы в пуне на отшибе, где хранилась выездная бричка с упряжью для коня, ночевал и конь – работяга, может, Бог подсказал Савве оставить этого коняку в пуне с сеном. Может, какой иной хозяйский резон был, а только конь с бричкой и конской упряжью там оказались как подарок судьбы. Глафира с дочкой собрали кое-что из одежды, уцелевшей при грабеже, и пришли в пуню. Савва запряг коня в бричку, а сам отлучился ненадолго. Это он прощался со своим хуторочком, созданным каторжным трудом. Над хуторком взвился черный дым, а тут и огонь загудел. А куды подались, никто не знает...

Чего ждали бабаедовцы и боялись, того и дождались. Дотянулась железная дорога до Бабаедова. Стороной обошла деревенские избы с их садами и баньками и уткнулась, как безголовый удав, в вековые липы, охранявшие сад пана Ростковского от северных ветров. У речушки Гулены обосновалась полевая кухня. Ежедневный рацион – щи и гречневая каша с салом и поджаренным луком. Яблоки с грушами и вишнями спилили. Недозрелые плоды пообрывали, а изуродованные деревья стаскивали в кучи и жгли в огромном костре.

Я плакала, а папа, когда стали уничтожать сад, ушел к знакомому паромщику. Уходя, сказал маме: «Пойду на недельку, сердце мое не вынесет гибели сада. Я каждое дерево растил, холил, как моего ребенка».

Подошел человек в военном френче, он хромал, опираясь на трость с бронзовым наконечником в виде львиной головы. Это судья. Евгений Михайлович появился в Бабаедове неделю тому назад.

– Ты что так горько плачешь, девочка?

– Сад жалко.

Судья закурил.

– А людей тебе жалко, какие в беду попали? Кого тебе жалко в вашей деревне больше всех?

– Наталью и ее детей.

– А еще кого?

Вспомнились пьяные мужики, что гнались за папой с топорами...

– Жалко тех мужиков со связанными руками. Когда их увозили конники в Сенно, за телегой бежали их дети и жены...

– Но они же могли убить твоего отца, а у него тоже дети.

– Вот видишь, трудно решить такой вопрос без суда. – Судья тяжело опирается на львиную голову трости. Морщится, у него болит покалеченная нога.

– А почему тебе жалко Наталью? Она будет работать в суде, получать деньги за свой труд. У нее в хозяйстве свой конь, телега, плуг, борона, коса, пила, топор...

– Скажите, она такая красивая... Тут, было, конюх Иван ввалился к ней в дом свататься, так она его так коромыслом по башке отсватала, что он выкатился с крыльца еле живой.

– Ну, вот сама поняла, что Наталья – сильная женщина и гордая, жалеть ее не надо, жалость унижает человека. А вот помочь такому человеку – милое дело. Наш суд – три мужика – решили купить корову Наталье, а она будет нам готовить еду и поить молоком, заодно и своих детей. Они у нее трудятся, как муравьи, все до единого, всем есть дело. Такие дети не пропадут, а их мама – счастливый человек.

В конце августа приехал Шафранский в Бабаево, походил по тому обезображенному месту, где некогда цвел и царствовал сад – всем садам сад. Пришел отдохнуть к нам. Мама угостила его своим знаменитым квасом.

– Приехал я, пан Шунейко, по делу. Хочу попросить Наталью, чтоб отдала в нашу семью, на сколько сможет, свою Полю. Я, если будет на то ваша ласка, хотел бы с Натальей поговорить при вас.

– Пожалуйста, только вряд ли Наталья согласится.

– А я надеюсь, что согласится. Она разом с Лилей в школу будет ходить, дома уроки делать. Лиля да Соня будут учить ее игре на пианино. А Поля будет учить Лилю готовить еду, печь блинчики, делать салаты. Она все это, я видел, ловко делала, когда помогала Наталье. Я прошу Полю не в домработницы, а в подружки Лиле...

Папа послал меня за Натальей. Они пришли вдвоем с Полей. Беседа длилась долго. Наталья плакала и все же была склонная к отъезду дочери в Обольцы: «Может, в люди выбьется», – думала она. Последнее слово было за Полей:

– Поеду, мама, если что не так, вернусь домой – не за горами.

На рассвете следующего дня Шафранский увез Полину в Обольцы. «Господи! Помогите ей, Полюшке, кровиночке моей, в чужом доме, в чужой семье», – шептала Наталья и еще долго стояла на развилке дорог, не вытирая слез. И все смотрела в ту сторону, куда увела ее любимицу судьба. На радость ли, на горе ли какое.

14

Пришла пора осенняя – шевелись, Бабаедово: люд, уподобясь муравьям, запасай на зиму еду, не дай пропасть ни колосочку, ни картошинке, ни кочану капустному. Поплети лучок, пусть красуется на стене в кухне золотыми связками. Соли в кадушках огурцы пупыристые с дубовым да смородиновым листом, прикрой укропом – будет что зимушкой лопать. Не успела осень убраться на покой – зима тут как тут. Первый снег, первая пороша. С приходом холодов, с морозами пришла к бабаедовцам тревога. Страх. Нагрянет и к нам продотряд – считай, гибель. Хуторских раскурочили, пустили по миру, теперь за деревню возьмутся, того и гляди.

– Анюта, – успокаивал папа маму, – у нас запасов – кот наплакал. Да нас и не положено ни налогами обкладывать, ни продотрядам грабить. У нас охранная бумага – Павлик в эскадроне красных с басмачами воюет, а Андрей – рабочий, на отцовском месте у кипящего стекла поджаривается.

Папа молчит, думает... Я догадываюсь, о чем его мысли. Андрей из армии приехал в Бабаедово на побывку после ранения. На гуте обоих братьев Курсаковых уже давно не было. Они воевали в Красной армии. Андрей перед отъездом на гуту не появлялся домой до рассвета. Папа его ругал, называл жеребцом и лоботрясом. А потом стала приходиться к маме Стефания. Сидела и плакала, сидела и плакала каждый вечер. Стефания приходилась племянницей Кандыбихе. Однажды принародно она заявила Андрею: «Я тебе, кобель горбоносый, такой приворот уворю, что отсохнут все твои причиндалы». Андрей испугался за «причиндалы» и укатил по новой железной дороге на гуту.

Зима выдалась хуже лютой мачехи. Снегу намело-навалило. Бабаедовских школьников когда подвезут, а когда и нет. Петр Звонцов всем ряшнянским школьникам сгношил бурки из кусков старого тряпья и выношенных огрызков овчиных кожушков. Павла с Касьяном сплели лапти. Бурки заправили в лапти и прошили дратвой. Радости было на весь белый свет.

Сейчас трудно себе представить этих ребятешек, во главе с Касьяном бредущих из школы в бешеной завирухе, в темени по снегу аж по пояс. И – диво! – никто за зиму не заболел, не закашлял. А щеки, носы и уши отмораживали. Тут уж Анухриха с банкой гусиного жира: намажет, пошепчет и на удивление всем – заживает все, что отморозили. А иному мальчугану скажет: «Что это ты морщишься? А ну-ко, лыцарь, спускай штаны. Спускай-спускай, а то отвалится кое-чего... Отморозил ведь. Я вот своей мазью помажу твой стручок, и будешь ты – жених женихом. Еще и лыбится, а то я не видела ваши причиндалики. О, видишь, как хорошо намазала – и заживет до свадьбы. Скажи своим товарищам, нехай приходят».

Папа мой учил читать, писать Натальиных ребятешек, и еще трое бабаедовских приходили к нам, усаживались в кухне за столом и шуршали перышками номер 86 и «кобылками» по шероховатой бумаге тетрадей, сделанных Натальей из старых шпалер пана Ростковского. Чернила – из сажи и красной свеклы. Читали единственный букварь по очереди. И я помогала папе в качестве «учительницы».

А жить становилось все труднее и суровее. У людей кончились запасы соли, спичек, мыла.

Раза два Наталья приносила маме по полстакана соли и коробку спичек. Все же она «кормила суд». Продукты ей давали. А вот с мылом – большой дефицит.

Мама сидит на лавке у стола на кухне. Руки сцеплены на коленях. Лицо озабочено.

– В баню бы ребят, закоженели от грязи, да вот беда: где взять кусок мыла? – это мама спрашивала отца, а он ей не отвечал, может, потому что устал: глаза закрыл и сидит на лавке, опершись спиной о бревенчатую стену. Отец ездил в лес по дрова, он их еще по теплу заготовил: напил, нарубил, в штабелек сложил. Я это хорошо знаю, потому, что вместе с отцом была в лесу и ему помогала. Мамин вопрос он не пропустил мимо ушей, понимал, что детям

да взрослым давно пора вымыться в бане, только что же он мог ответить, когда и сам не знал, где же можно раздобыть хотя бы маленький кусок мыла.

А на следующий день произошло вот что. У старухи Михеихи околел кабанчик, за одну ночь околел. Что с ним приключилось, никто толком не мог понять. Думали, гадали и пришли к выводу, что подхватил он какую-то опасную свиную болезнь, раз околел за сутки. Теперь, того и гляди, пойдет эта зараза гулять по хлевам, все свиньи передохнут, а потому решили этого кабанчика из хлевушки выволочь, облить карболовой кислотой и отвезти подальше от греха – закопать на карьере, где когда-то брали песок на строительство железной дороги...

Когда старуха Михеиха утречком понесла корм своему кабанчику и увидела его бездыханным, она подняла такой крик и плач, что половина деревни сбежалась. Узнав, в чем дело, постояли люди у хлевушки, поохали, посочувствовали, поутешали:

«Бывает и похуже беда, да люди выдюживают... Человек – он на то и человек, чтоб все беды, которые валяются ему на голову, выдюжить...» Только все эти слова до сознания Михеихи не доходили, она погрузилась в свои переживания, как в омут: ничего не слышала и, неутешно плача и причитая, все смотрела и смотрела на своего околевшего кабанчика.

– Ну, чего ждем, мужики? Пора дело делать... Михеиху отстранили, кабанчика выволочки, полили вонючей жидкостью, а вот везти его и закапывать никому не хотелось: земля мерзлая, ее долбить надо, да опять же – лошадь запрягать... Обратились к моему отцу – мол, только что по первому снегу по дрова ездил: «У тебя и сани на ходу, сvezи, сделай уважение для общества...»

– Сvezу, авось мой коняка не надорвется.

– Ну, раз Гилярович согласен, то и я ему подмогу, – отозвался пастух Павла. – Не одному же человеку для всего общества маету принимать.

– Могу и я помочь! – подал голос еще один мужик по прозвищу Алхимик.

Его недаром так прозвали: был он неравнодушен к химии, хотя нигде никакой такой специальной грамоте не обучался. И никому не было известно, где и как он добывал кой-какие диковинные товары, например, соду-поташ, купорос, карболовую и соляную кислоты, серу, деготь, скипидар и еще многое, чему он и сам не знал ни точного названия, ни назначения.

Народ стал расходиться: дело решено, нашлись люди, что сvezут борова, закопают, а Михеиха поплачет, погорюет да купит малого поросеночка и снова станет кормить. Она последней отошла от околевшего кабанчика, не переставая плакать и сокрушаться: приедет сын Федька из города под Новый год за окороком, за колбасками, а нет ни того, ни другого. Попусту мужик приедет к матери, осерчает...

– А что, мужики, – весело сказал Алхимик, когда тяжелого кабана взвалили на сани, – давайте сварганим из него мыла. А то, что он заразный, так пуцай и заразный: на огне да с химикатами самая что ни на есть заразная зараза не устоит – скукожится, такая-сякая...

Пастух Павла помолчал, почесал жидкую бороденку.

– Может, Алхимик и дело говорит... Без мыла ой как худо! Не больно-то ладно золой рубахи и портки стирать. А как бы сами-то в баньке отмылись, ребятишек обновили, а то знай скребутся – нет спасу...

– Во, Павла разумно скумекал. Нешто у нас мякина в голове, чтоб такое добро загубить. В этом кабанчике сала... А у меня, мужики, и посудина подходящая есть, и все остальное, что химии касаемо...

Отец молчал, а потому Алхимик взял вожжи из его рук и погнал лошадь к своему дому.

– Тебе, Гилярович, мыло, может, и не надо, ты, может, имеешь запасы, еще при царе Горохе подзапася, – бубнил укоризненно Алхимик. – А у меня душа не позволит упустить такой шанс...



Алхимик подогнал лошадь к небольшой пристройке к сараю, куда доступа никому не было, ни один член его семьи не смел даже близко приближаться к двери с солидным замком,

не то... «ка-ак пыхнет, ка-ак рванет, охнуть не успеете...» Ключ от замка Алхимик всегда носил с собой. Он скрылся за таинственной дверью и через малое время выкатил из пристройки чугунный котел, а потом вынес оттуда узел «химии», положил его в котел, а котел втроем водворили на сани рядом с кабаном.

– Теперь трогай, мужики! – дал команду Алхимик и пригрозил кнутом детям, высыпавшим на крыльцо:

– А ну, марш на печь! Вот я вас, голозадых... До карьера километра два с гаком. Алхимик деловито правил, а пастух Павла шагал рядом с санями, взвихривая неглубокий чистый снег огромными валенками, и улыбался. Ему не терпелось заняться новым неизведанным делом – превращением кабанчика в мыло. Отец шел за пастухом Павлом и думал. У него было пасмурно на душе: все же кабанчик – Михеихин, хоть и пропал, и общество решило, как с ним поступить, а все же... Как бы сраму на всю деревню не вышло! Но тут же всплывал в памяти вчерашний вечер, забота жены о куске мыла, без которого детей не вымыть, белье не выстирать, самим не вымыться... Нет, не хватило у него духа перечить Алхимику и Павлу, да и не послушают они его. «Что будет, то будет!» – решил он и, по-хозяйски взяв вожжи из рук Алхимика, пошагал рядом со своим рыжим коньком по направлению к карьере.

... Мыловарщики вернулись только к утру. Не светились окна ни в одной деревенской избе. Когда отец вошел в избу, весь запорошенный снегом, я проснулась и увидела, как он подошел к столу и плохо слушающимися руками стал вытаскивать из мешка куски мыла и раскладывать их на разостланную льняную тряпицу. Он делал это медленно, и я считала про себя: один, два, три... Их было пятнадцать, пятнадцать кусков мыла! Такого мыла я после всю свою жизнь никогда не видела: оно было белое, в ярко-голубые полосы и крапины, и от него шел непривычный, незнакомый дух. Сразу вся наша небольшая изба наполнилась этим духом. Мама стояла рядом с отцом, плотно сцепив руки на груди, и следила за каждым его движением.

– Анюта! – обратился отец к матери. – Испробуй, как оно?

Мама достала из печи чугунок с еще теплой со вчерашнего вечера водой, вылила ее в жестяной таз и сняла с гвоздя полотенце для рук, давно потерявшее свой настоящий цвет. Она намочила его в воде и намылила, а потом, бережно отложив мыло в сторону, стала тереть в руках это полотенце, оно хорошо отмывалось, белело!

– Ну, вот тебе и мыло, мойтесь, парьтесь, отстирывайтесь. Сегодня же и баню истопить надо, – устало проговорил отец. – Иди, Анюта, распрягай коня, подкинь ему сена, а я – спать, спать, ноги не держат...

К вечеру баня была готова, ее топили Алхимикова Файка, Павлова Гелька и моя мама. Им помогали дети, которые постарше. Дел было много, и всем находилась работа. Павлова Гелька прикатила из своего двора еще одну здоровую кадку: надо же нагреть воды столько, чтоб всем хватило, чтоб на три семьи... Одних ребят набиралось полтора десятка, да взрослых еще сколько. Баню топить было весело и интересно. Мы, мелюзга, здорово мешали, матери покрикивали на нас, но не гнали. Гелька сказала: «Пуцай приучаются к жизни! «И мы, осмелев после таких ее добрых слов, старались: то норовили лишнее полено в топку затолкать, то, приоткрыв крышку на бочке, окунали озябшие ручонки в воду – почти кипятком – и норовили как можно дольше продержать их в этой воде. Но у нас полено отнимали, от бочки прогоняли и шлепали пониже поясицы, да не больно шлепали, и нам было очень весело: как же – баня! – радостное событие в нашей ребячьей жизни...

Когда мужчины и мальчишки вымылись, наступил черед женщин и нас, бесштанной мелюзги. На нашу долю оставались две полнехонькие кадки горячей воды и кадка студенки. Мы разделись в предбаннике, сбросив с себя незатейливую одежонку, и ввалились в баньку с таким восторженным визгом и шумом, что банька стала похожа на пчелиный улей перед ненастьем. Мы гудели на все голоса, брызгались водой и смеялись беззаботно и радостно до тех пор,

пока наши матери не стали нас по очереди вылавливать, подтаскивать к тазу с водой и, намочив наши лохматые головы, намыливать их диковинным бело-полосатым мылом. Дикий ор, который мы устраивали, когда мыло попадало в глаза, ни у одной из матерей не вызывал снисхождения и жалости: они с азартом скребли головенки детей жесткими крепкими пальцами, смывали теплой водой, намыливали еще раз, и процедура повторялась. Не меньше досталось и нашим телам. В ход шла вехотка-рогожка, от которой кожа горела огнем. Но вот – ушат воды на голову, и марш в предбанник! Ага, как бы не так! – в предбанник: это для того, чтобы, натянув на себя чистые рубашки, сидеть там и ждать, ждать, ждать... Но нам не хотелось ждать. Изгнанная в предбанник мелюзга вывалилась из бани и ныряла в сугробы чистого белого снега, каталась и купалась в этом снегу, не чувствуя ни страха, ни холода, до тех пор, пока одна из матерей, выскочив из бани с безлистным березовым веником в руках, не загоняла нас, изрядно похлестывая, опять в баню и там вновь окатывала горячей водой всех подряд – и своих, и чужих...

За нами приехал отец на своем коньке, запряженном в сани. Мы, напялив на себя чистые рубашки, попрыгали на шуршащее сено, прикрытое рябушкой – самотканым покрывалом, сбивались в комок, и отец, накрыв всех разом своим большим дорожным тулупом, вез нас домой. У избенки Михеихи он остановил коня. Приподняв тулуп, отец окликнул меня и велел сбегать к бабке Михеихе, позвать ее в баню да отдать ей малый сверточек: я его ощупала и поняла, что в тряпицу завернут кусок мыла.

– Если спросит, где взяла мыло, скажи: «Это еще при царе Горохе у отца было, сберег...»

Я мигом шмыгнула на крыльцо, пробежала сени и, влетев в избу, громко позвала:

– Бабка Михеиха! Тебя в баню мыться зовут, вот тебе и мыло от царя Гороха...

В ответ – ни звука.

В избе стояла такая тишина, что в ушах зазвенело. Я подбежала к кровати и подергала одеяло, но бабка не шевельнулась. Мне стало страшно. Вмиг охваченная ужасом, я пулей выскочила из избы.

– Михеиха молчит, папа. Я боюсь...

Отец затолкал меня, босую, в одной рубашонке, под тулуп и, привязав коня к городьбе, пошел в избу старухи. Через минуту он вышел, держа шапку в руке.

– Умерла наша Михеиха, вечная ей память. Отгоревала... И надо же было этому кабаненку околеть... От грех, прости, Господи!

Мы повысовывались из-под тулупа, но отец строго сказал:

– А ну закрывайтесь, не то кнутом всех подряд! – Это относилось к нам. И опять сердито:

– Но-о, трогай же ты, окаянный дармоед! – Это касалось трудяги-коня.

Скрипел свежий снег, схваченный небольшим морозцем. Над притихшей землей в далекой выси мигали загадочными огнями звезды. Мы дрожали под тулупом, а рядом с санями отцовские боты подминали с хрустом чистый снег.

– От грех, живешь на свете и жизни не рад. – Это относилось к Михеихе и к себе, придавленному нуждой и мучимому совестью, без вины виноватому...

Засуетились воробы на крышах, на все лады зачирикали. Солнце, отдохнувшее за морями, за долами, вновь вернулось на круги своя. Ледяные сосульки капелью забавляются. Кончилась, лютая, наморозила, намаяла людей, – как и живы остались. Живы, да не все. Схоронили Михеиху, а вскоре и бабку Анухриху, лекаря народного.

– Скольких детенышей в свои руки приняла, пупки перевязала, первой перекрестила: «Живи с Богом. Спаси ты, Христос!» – Вот такими словами благословляла на жизнь каждого новоявленного, – так говорила, стоя над гробом у края могилы, многодетная мать, жена Алхимика. Она плакала и ветхим зипунчиком прикрывала выпуклый живот от холодного ветра.

Павла, Звонцов, Касьян, Алхимик опустили гроб в яму, закидали комьями мерзлой земли. Обухом топора Алхимик утрамбовал землю вокруг деревянного креста, а сбоку мужики вкопали квадрат земли с деревцем сирени. Это папа мой подарил Анухрихе такой букет, сказал: «Приживайся, расцветай по веснам». Алхимик заткнул топор за пояс:

– Отдыхай, добрая душа. Низкий поклон праху твоему от всего нашего обчества.

15

Жить становилось все хуже и драматичнее. Да уж как не драма отдать свою шестилетнюю дочку в наймы к Тялоху – пасти все лето стаю его любимых гусей. Все лето!

– Ты справишься, доча. Гуси – это же не буйволы, не крокодилы. Тялох обещал хорошо расплатиться. Тебе ж надо платьишко новое, обутку, пальтецо... – Папа говорит, а в глаза мне не смотрит. – Опять же надо купить книги, тетрадки...

Итак, судьба моя на все лето решена. Тялох будет нос задирать, как же: дочка садовника пасет тялоховских гусей. А дети дразнить могут:

Тонечка, душка,
Гусиная пастушка...

Я плакала тихо и безутешно. Одна. А воробышки чирикали. То ли утешали, то ли советовали: «Не робей!»

И вот роковой день наступил!

Мама будит:

– Вставай, дочка, вставай! Гуси закуток разворотят, на волю просятся. Да проснись же ты, солнце уже во-о-он где...

А солнце еще и не показывалось, едва светает. Очень хочется спать, глаза никак не открываются, будто слиплись. Мне кажется, что я только-только уснула, и вот уже надо вставать, надо гнать гусей к сажалкам – так у нас называли небольшие озера на заболоченном лугу – надо их целый длинный-предлинный день пасти, караулить.

Гуси не наши – соседа Тялоха. Тялохи наняли меня в пастушки на все лето и осень – до заморозков. А за мою пастушью работу сосед пообещал мешок жита и четыре аршина бумагеи на платье.

– Это если сбережет всех до единого. До единого! – повторил Семен Тялох и, уходя, погрозил пальцем, похожим на обломанный кривой сучок.

Тялох ушел, а меня охватила тревога: «Что же меня ждет? Шутка ли – стая гусей! А если я их не уберегу, тогда как?..» Долго не могла я уснуть в эту ночь...

И вот чуть свет мама будит меня и ждет, когда я встану. Глаза у нее грустные, и говорит она тихо:

– Ты уже большая, дочка. Тебе шесть с половиной годков стукнуло. Вон и Глафирина Бронька называет тебя невестой...

– Бронька – дурак! – огрызаюсь я и, полусонная, натягиваю на себя какую-то одежонку, которой и названия точного нет. Наскоро ополоснув лицо холодной водицей, стою у стола и жую кусок хлеба, запивая молоком, и думаю, думаю – что же ждет меня?

В мой первый рабочий день мама сопровождала меня до самых сажалок.

– Ты этих гоготунов не бойся, – говорила она. – Старые гусыни с гусаками, пока не привькнут к тебе, будут вытягивать шеи и шипеть, будто вот-вот заклюют. Только ж это они так, страшат...

Ничего себе – страшат... Налетел же в прошлом году тялоховский гусак на моего двухлетнего братика Леню. Мама ушла за водой к колодцу, а малыш потопал за ней. Гусак завалил Леню на землю, топтал, бил крыльями и долбил в голову клювом. Леня зашелся от крика. Когда мы подбежали, мама схватила гусака за голову, несколько раз с силой крутнула его, описывая круги в воздухе, и зашвырнула затихшего разбойника в густые заросли крапивы. Подняв Леню на руки, она пошла к ведрам с водой, умыла заплаканное личико малыша и дала ему напиток:

– Ну что же ты, сыночек мой малый, этакий ты незадачливый. Ты бы этого гоготуна спал за шею и даванул. Ведь мужичок ты у меня, вишь, какие у тебя ручонки крепкие, а ты гусака забоялся. И никому, никому не рассказывай, что тебя гусак чуток не заклевал. Ребя-тишки смеяться начнут, дразнить. Ты забудь про гусака, плюнь на все это дело и забудь!

Леня, все еще всхлипывая, спросил:

– А г-где гусак?

– А полетел! Далеко-далеко, за облака.

– На небо?

– На небо, махонький, – мама погладила Леню по светлым волосенкам. – Ишь, шишки повскакивали, надолбал в голову махновец носатый. Я те подерусь, запомнишь, как малых ребяток обижать, разбойная твоя порода! – она опустила братишку на тропку. – А ну-ко, помогай своей мамке водичку домой нести. Берись за дужку и потопали, потопали. Вот и добро, вот как славно сынок помогает. И никого, никого не бойся.

Ярко вспомнился этот прошлогодний случай. Я с опаской поглядывала на вышагивающего впереди стаи гусака, сменившего того, что «улетел за облака» да так и не нашелся, сколько Тялохи его ни искали. Вслед за ним переваливались гусыни и все сорок гусят. Я шла за стаей и молчала, а мама все говорила, поучая и наставляя:

– Вот тебе, дочка, хворостина: если зашипят и побегут к тебе, ты их маленько хворостиной и огрей. Да не ударь крепко по голове – зашибешь! А еще смотри, ой смотри, чтоб коршун или ворона не повадились гусят уносить. Заметишь, что закружили над гусятами, маши палкой, кричи, в жестянку бей. Да не усни на горе-беду. Гуси-то чужие, упустишь их – тогда и не расплатиться с Тялохами, нечем у нас расплачиваться.

Мама еще долго что-то говорила, говорила, и голос у нее становился все тише, и был он каким-то усталым, виноватым и жалким. Наконец она замолчала.

Четыре серые гусыни побежали за гусаком, за ними все сорок гусят скатились с пологого берега, и началась у них на воде гусятина потеха.

Мама крепко прижала меня к себе:

– Ну, дочка, в добрый час! Храни тебя, судьба...

Она быстро повернулась ко мне спиной и пошла, не оглядываясь, оставив меня у сажалок с темной водой одну, будто я ей совсем чужая, будто я ей совсем не нужна. Заторопилась домой, где ждали ее бесконечные заботы. Мне хотелось заплакать, закричать, догнать маму, изо всех сил вцепиться в подол ее юбки и не отпустить. И не надо мне нового бумазейного платья и мешка жита. Не надо! Как же стало мне горько, одиноко и неудобно. Зачем же такая несправедливость? Я – здесь, у сажалок, где тучи комаров и острая, как бритва, осока, а все остальные – дома. Пылают дрова в печке, подходит тесто в квашне. Сегодня мама будет печь хлеб, а это самый большой праздник для всех нас, день, когда в нашей избе выпекался хлеб...

Но что же это гуси встревожились, забили крыльями по воде, загоготали во все глотки? Я мигом обернулась и увидела, как кружат над ними два коршуна. Два! И вот-вот бросятся камнями вниз, на гусят. Ах вы, враги! Нам же нечем расплачиваться с Тялохами! «Ту, ату, лешаки!..» Я била в ладоши, вихрем носилась по берегу сажалки, наткнулась на ржавое ведро, схватила его и так начала лупить в него палкой, что во все стороны полетели рыжие ошмотья. Я кричала во всю мочь, позабыла о комарах, об осоке, о черной пугающей бездне сажалок, из которой, по рассказам пастуха Павла, в любую минуту мог высунуть голову водяник – главный болотный черт, заросший тиной, с пиявками на голове вместо волос. А гуси будто поняли, что я их спасаю от беды, прибились к берегу, ко мне поближе...

И вот – первая вражеская атака была отбита, коршуны скрылись! Я ликовала:

– Ну что, слопали гусеночка? Шиш вам, два вам шиша! Вот, вот – получайте! Вы еще не так получите, мне Антошка рогатку наладит, я медный таз принесу – даст бабушка, даст! – да такого грохота наделаю, что всем коршунам и воронам тошно станет.

Я все еще ходила по берегу сажалки взбудораженная, а гуси быстро успокоились и снова занялись своими гусиными делами: вылавливали в воде какие-то только им известные лакомства, учили этому занятию маленьких гусят, перекликались между собой на своем гусином языке. Может быть, они рассказывали друг другу, какие они воинственные и храбрые, как испугали своим криком коршунов. Как бы не так! Бестолковые гоготуны, это же я прогнала коршунов, я! Теперь уж не буду спускать глаз с неба и со стаи даже тогда, когда гуси выйдут на берег и улягутся на зеленой траве сытые и притихшие.

Всю весну и все лето не было у меня выходных, не было праздников. Ноги и руки покрылись цыпками. А сколько на теле следов от укусов комаров, оводов, слепней и мух – не счесть. То палило солнце, то лил дождь, а я на посту, мне нельзя отойти от тялоховских гусей. Как-то к вечеру такая огромная черная туча напозла, такие свирепые молнии рвали небо и так страшно рокотал гром, что людей и в избах страх разбирал. А я у сажалок с гусями одна, мне их не бросить: вдруг да лисица пожалует – они тут шастают.

Я смирилась со своей судьбой: никому не жаловалась, не плакала. И мне уже стало казаться, что так будет вечно, всегда: болото, сажалки, гуси и я. Мама уже не будила меня на рассвете, я сама просыпалась, вскакивала с соломенного матраса, брала приготовленный для меня скудный узелок с едой: куском хлеба, картофельной лепешкой, иногда и бутылка молока перепадала на мою долю, – и отправлялась на работу. Долго тянулся мой трудовой день, ой как долго. От скуки я принималась петь. Сначала те песни, которые знала, которые пели наши деревенские бабы и девки, когда убирали рожь или косили и сушили сено. Это были заунывные песни, песни-жалобы.

А я в поле-е-е жита-а-а жала-а-а,
В моем доме-е-е беда-а-а стала-а-а,
Ой, свалился сыночек с печи-и-и-и,
Поломал малы ножки-и-и-и,
Побил плечи-и-и-и...

Я старалась вовсю, чтоб получалось жалостливо, как у вдовы Николаихи, самой голосистой певуньи в нашей деревне. Вероятно, мне удавалась песня, потому что гуси переставали кормиться всем тем, чем были богаты наши сажалки, подплывали к берегу и, как мне казалось, слушали меня. Когда же были исполнены все песни, сочиненные нашим бабаедовским народом, я, не долго думая, начинала сочинять свои собственные:

Я расту на болоте-е-е-е,
Как трава зелена-а-а,
Я гусей тут пасу-у-у,
Вот такая беда-а-а.
Гуси-лебеди, гуси-и-и,
Надоели вы мне-е-е-е, Может, сплю я и вижу-у-у Вас, крикливых,
во сне-е-е.

Иногда к сажалкам прибегали мои младшие братишки Саша и Леня. С ними мне было веселее, и, чтобы подольше их задержать, я рассказывала им всякие небылицы про чертей и оборотней, про водяника, которого будто бы собственными глазами видела аккурат посерединке сажалки.

– А он гусей не может похватать? – тревожился Саша.

– Не-е, не может! – успокаивала я брата. – Тялоховские гуси – это же самые настоящие черти, родня водянику! Он их не тронет.

– А ты про водяника складывала песни? – спросил Саша и с опаской посмотрел на сажалку.

– Про водяника у меня самая веселая песня.

– Тогда спой! Будем хороводиться...

Мы брались за руки и водили хоровод, горляня на все болото:

Водяник в болоте жил,
Воду в сажалках мутил,
Карасей гонял за квасом, Песни пел лещачьим басом, С жабой
польку танцевал —
Рак на дудке им играл, Черти танцем любовались
И до слез захохотались.

Братишкам понравилась моя песня, и они хохотали так, что гуси всполошились. Повторяя строки про водяника, гонявшего карасей за квасом, они падали на траву, задирали ноги кверху, ползали на четвереньках, кувыркались, буйно выражая свой восторг.

В этот же вечер, усевшись на бревна возле забора, вся наша деревенская ребятня распевала про водяника. И вот за ужином братишки выдали мою тайну:

– А Тонька песни разные складывает и поет гусям.

– Ага! И нам пела, – подтвердил Леня.

– Хорошие песни? – спросил отец.

– Хорошие! Мы от смеха помирали.

– Может, дочка, ты и нам споешь, а то мы ой как давно не смеялись.

Удивительно, но я не оробела, не засмушалась, а очень спокойно, как-будто выступала на сажалках перед гусиной стаей, своим тоненьким, похожим на комариный писк голоском запела не веселую, а самую для меня дорогую: «Я расту на болоте, Как трава зелена-а-а...»

Две последние строки – «Не хочу на болоте весь свой век коротать...» – были протестом, бунтом. И конечно же, от моей песни никто не развеселился, как того хотел отец. Мама закрыла лицо руками, бабушка качала седой головой, а отец смотрел на меня так, будто видел впервые в жизни. Кто знает, о чем он думал в те минуты...

На следующее утро, когда я погнала гусей на сажалки, отец окликнул меня, подошел, взял узелок с едой из моих рук и всыпал в него горсть разноцветных леденцов – лакомство по тем временам редкостное.

– Учиться тебе, дочка, надо. Вот отвезу тебя в Кузьмино, там у нас живет дальняя родня – бездетные. Упрошу их, авось и не откажут. И школу-четырёхлетку будущей осенью открывают там. А пока потерпи, трудно нам: едоков много, а вот работать некому.

Весь день я рисовала в своем воображении и школу, и учительницу, и знакомых ребятшек, и тех дальних родичей, у которых буду жить. Леденцы собрала и завернула в лист лопуха, даже не попробовала, а вечером за ужином ошеломила братишек, развернув перед ними этот лист.

– Где ты взяла? – в один голос спросили Саша с Леней.

– Один колдун шел мимо, видит, девчонка плачет, в осоке сидит, комары ее загрызают. Остановился, пошарил в своих карманах да и насыпал леденцов на лопуховый листок: «Одна съешь, – говорит колдун девчонке, – одна будешь счастливой, а если с другими поделишься, то и им счастье улыбнется». Вот все и угощайтесь, да чтоб поровну...

Братишки заулыбались и протянули руки к леденцам.

К концу августа гусята, которые весной были неуклюжими желтовато-грязными увальнями, превратились в красивых сильных птиц. Они все чаще помахивали крыльями, пробуя

их силу. В гусиных криках слышались тревога, беспокойство. Где же мне было знать, что это ничего хорошего не предвещает...

Утром я, как всегда, пригнала тялоховскую стаю на сажалки. Гуси поплавали, поокунали головы в темную воду, но вскоре вышли на берег, сбились в кучу и стали громко кричать, словно мужики и бабы на деревенском сходе. Почувяв неладное, я бросилась к ним, чтоб разогнать эту подозрительно «разговорившуюся» компанию, но не тут-то было! Вытянув шеи, гуси быстро-быстро побежали за гусаком, замахали крыльями и вдруг, издавая воинственный клич, поднялись над болотиной и полетели в сторону соседней деревни Вейно, аккурат туда, где созрел овес на полях.

Их полет ошеломил, оглушил меня. Я бросилась вдогонку за беглецами напрямик через болото. Плакала и кричала, проваливаясь в липкую черную жижу ржавых колдобин, чудом из них выползала и опять бежала, карабкалась, падала...

Полтора километра по болоту! Как выбралась из него, как не засосало меня в одной из хлюпающих, выбрасывающих на поверхность пузыри ям-ловушек, можно только диву даваться.

– Не судьба тебе, дите, загинуть, – скажет мне вечером бабушка Михалина, смывая с моего тела налипшую черную грязь.

Но это будет вечером, а сейчас, задыхаясь от усталости, с пересохшими губами, я выбралась из болота на луг с лютиками и тут увидела, как гуси выскакивают из овса, тялоховские гуси, мои гуси! Но... Ой, как тошно мне, гуси-то мои, да гнал их незнакомый сутулый дядька, азартно стегая здоровой хворостиной, выкрикивая:

– Ы-ы-ы-ы, вражья рать!

– Дяденька, миленький, – взмолилась я. – Они поднялись и полетели над болотом. Я не виноватая. Я сильно бежала за ними, во, видите – чуть не утопла в болоте...

– Вижу, не ослеп! А гусей не отдам, в свой хлев загоню. Пусть за ними придет твой батька. Да пусть за потраву моего овса возместит!

– Дяденька, миленький! Отдайте Христа ради гусей. Я сама вам за потраву отработаю, картошку приду копать или еще что делать. Не надо, дяденька, батьку звать. У нас же нечем возмещать. Дяденька...

Я бежала за мужиком, гнавшим тялоховских гусей в свой хлев. Бежала в мокрых лохмотьях, прилипших к тощему телу, с ног до головы измазанная торфяной болотной грязью. Я навзрыд плакала, но сутулый дядька был неумолим. Он гнал стаю, похлестывая хворостиной, а я все семенила за ним, рядом, забегая то с одной стороны, то с другой и канючила: «Дяденька, миленький, отдайте гусей...»

Он загнал их в хлев, закрыл ворота и, стараясь не смотреть на меня, выпроводил из своего неухоженного двора.

– Иди за батькой, да быстрее. А то – мало чего... «А вдруг дядька не отдаст гусей? Вдруг – не отдаст?! Как же мне сейчас рассказать отцу обо всем, что случилось, поверит ли, что я не виновата, что гуси по воздуху летели на крыльях, а я бежала, проваливаясь по горло в болоте. Где ж мне их догнать...» Оттого, что надо все рассказать отцу, что дядька может не отдать тялоховских гусей, за которых надо отцу с матерью расплачиваться, меня обуял такой ужас, что я с новой силой заревела на всю чужую деревню. Бежала и ревела. Из последней избы выскочил на улицу конопатый мальчуган да как закричит:

– Мамка! Какая-то замузьяка бежит и орет...

Не ругал меня отец, молча оделся и вышел из дому. К вечеру он пригнал тялоховских гусей в наш двор. Мама вооружилась ножницами, какими стригли овец, мы со старшим братом Антошкой ловили гусей, подносили маме и она, не церемонясь с ними, коротко состригала перья на крыльях, приговаривая:

– Супостаты! Всякой твари в поднебесье охота. Пускай лебеди летают, на то они и лебеди. А вы ж – гуси серые, дворовые, вот и гогочите до поры на лугу. А то им чужого овса захотелось, а нам – горе.

Какой же сегодня тяжелый день, и как я устала. Ташу очередного гуся к маме, а руки дрожат. Думаю: «Ну зачем Тялохам так много гусей? И когда ж мы с ними покончим?» Перья на крыльях жесткие – ножницы не режут. Каждый гусь норовит от тебя ускользнуть, сопротивляется – жалко ему крыльев. Бегаешь за ним, бегаешь по двору, аж в глазах потемнеет. У маминых ног уже высится горка упругих блестящих перышек – она их отнесет Тялохам, так они велели.

Но вот наконец-то последний гусь с обкорнанными крыльями помчался к сородичам, громко гогоча: наверное, жаловался, что с ним сотворили, и рассказывал, как ему было страшно. Мама отряхнула приставшие к переднику перья, бросила ножницы на лавку.

– Скорее бы заморозки наступили, ой, скорее бы. Чужое добро – тычки под ребро!

Но до заморозков было еще далеко. Сначала шли дожди – грибные, косые, частые, занудные, злые, а я все пасла и пасла гусей. На плечах одежонка, веревочкой подпоясанная, а вот на ногах – ничего! Босая! Мерзнут ноги. Сяду под ольхой, одну ногу в ладонях зажму и ко рту поднесу, выдыхаю на нее тепло, какое еще каким-то чудом во мне держалось, чуть отогрею, а потом таким же образом и вторую ногу спасаю от холода. Наверное, никто так не ждал заморозков, как я, но земля не мерзла, хотя с каждым днем все больше докучал холод. Когда моим ногам стало совсем невтерпеж, мама отыскала в чулане кусок старого суконного одеяла и вечером смастерила мне какое-то подобие обуви. Отец подшил эту горе-обутку кожей от изношенного, сотлевшего от времени хомута. «Ну, теперь-то я кум королю!» – радовалась я обнове, вышагивая по избе на глазах у изумленных братьев Саши и Лени, которые со дня рождения никакой обуви не нашивали.

... Я проснулась на рассвете с привычной заботой: пора вставать, надо гнать гусей на болото. Но тут же поняла: что-то произошло. Протерла глаза и увидела: на оконные стекла легли морозные узоры, сквозь эти чудо-цветы, завитки и разводы струилась в избу голубизна. «Да это же от инея на деревьях! Заморозки! Заморозки! Ага, принимай-ка, Тялох, гусей. Всех до единого сберегла, всех принимай. Прощайте, гуси-лебеди! Домой, серый волк за горой, убегайте от волка, запирайте ворота... Ага, подавай, Тялох, мешок жита и четыре аршина бумазеи на платье – вынь да положь! А вы, гуси-сброды, гуси-черти, гуси-лебеди, прощайте! Прилипла к окну, прижалась лбом к стеклу с морозными узорами, на сердце радость, которую не описать.

– Ну, дочка, дождалась! – сказал отец, входя со двора в избу. При свидетелях сдал гусей Тялохам. Сегодня хозяин и расчет должен доставить, вот только гусей прикончит...

– Как – прикончит?

Отец не ответил. Я выбежала на крыльцо и тут же услышала: кричат гуси на тялоховском дворе, несется оттуда крик птиц о помощи, но я им уже не могла помочь, я плакала.

К вечеру в нашей избе на самом почетном месте стоял мешок жита и на нем лежали отрез пестрой бумазеи и, как премия за мой самоотверженный труд, неожиданный дар от прижимистых Тялохов – старая гусыня с перерезанным горлом. Я издали смотрела на все это богатство, мною заработанное, но радости и ликования не было. В ушах звучал крик гусиной стаи, но не тот предсмертный, а другой – воинственный клич, зовущий к полету, к свободе, в тот горький и на всю жизнь памятный для меня день, когда окрепшая за лето гусяная стая рванулась в небо и понеслась на крыльях над болотом...

Вот они: мешок жита, бумазея на новое платье, какого у меня еще никогда не было, гусыня на праздничное жаркое для всей семьи, но почему же мне грустно?

Почему?...

16

Устали. Сидим на поваленной ветром сосне у самой кромки глубокого оврага. Всего метра два отделяет нас от почти отвесного спуска к таинственно мерцающей воде Варькиного омута. Овраг напоминал огромный котел правильной округлой формы. Глубина оврага гипнотизировала. Умирающая сосна источала терпкий запах живицы. Казалось, сосна, устав тянуться к солнцу, прилегла отдохнуть. Бабушка, любовно погладив атласный ствол сосенки, сказала:

– Открасовалось дерево, пропала мачта корабельная. Ишь, с корнем выворотило экую силу. Теперь дереву без пользы и век свой лежа на боку доканывать. – Бабушка тронула меня за плечо. – Ты, внучка, не больно-то в эту овражину вглядывайся. Место это худое. Люди его сторонятся. Нет смельчаков к Варькиному омуту приближаться, оторопь одолевает. И мы с тобой орехами торбешки набьем да с Богом и домой.

– А еще в другом месте растет орешник?

– Растет, только – «Федот, да не тот». Тут орешник, как чумной. Заросли его непролазные, и орехи – не чета иным. А ты помалкивай, где были, где орехи щипали. В лесу – да и весь сказ.

Мы уютно устроились под орешинной, как под шатром. Бабушка разостлала рушничок, вышитый красными петухами и стала на него выкладывать из холщового мешочка вареные яйца, пупырчатые малосольные огурцы, краюху хлеба, развернула листок лопуха с кусочками сала. Вкусно запахло чесноком. И в завершение – две здоровенные печеные картофелины. Это был пир незабываемый, самый памятный в моей жизни.

Про Варькин омут я уже слышала, только рассказывали про него неохотно, с опаской. И тут же начинали плевать через левое плечо и трижды креститься.

И вот моя любимая, мудрая бабушка привела меня показать этот загадочный Варькин омут, чтобы я его запомнила. И этот овраг, кто знает, как и кем сотворенный. Все правильно: котел, глянешь вниз – мороз по коже. И оторопь. На самой глубине оврага, густо поросшего плакучими ивами да березами, поблескивала вода таинственного Варькиного омута. Я вспомнила, как рассказывал про этот омут наш деревенский пастух Павла, человек мудреный и уважаемый.

– Я так себе кумекаю: много тысяч годов тому назад свалился с небесного царствия огромный камень, и угодил он аккурат в непроходимую чащобу лесную в нашем краю. Камень этот не простой, раз небесами посланный, и силу имел такую, что пробил земельку аж до самой середины. Што тут творилось в этот момент, никто рассказать не смог бы. А только люди наказывали своим детям, внукам да правнукам к оврагу не шастать и к омутовой воде не подходить.

– Бабушка! А почему нельзя подходить к омутовой воде?

– Гибель человеку от нее. Когда Варюшка, горемычная девчонка, бросилась в этот бездонный омут, родители Варюхины да и жених ее, отчаянная головушка, с друзьями решили выудить утопленницу из омута и похоронить по христианским законам.

– Нашли Варю, похоронили?

– Не нашли, внучка, не предали ее прах земле. Омут не отдал. А все, кто пытался на лодчонке-душегубке с баграми и сетками-ловушками найти тело Варюхи, погибли вскорости. Кто от удущья, кто слег и не поднялся на ноги, будто вампиры из него жизнь высосали. Отца Варьки нашли в лесу, повесился. А мать умом тронулась, ходила по деревням и всех на свадьбу Вареньки-красавицы о шестнадцати годках приглашала. Ромка, говорит, жених ейный, сорви-голова, ох любит доченьку мою, души в ней не чаёт. Приезжайте, гости, на свадебный пирок... Вот так, бедолага, и ходила, оборванная, собаками искусанная, людьми обгореванная.

– А жених, Ромка, что он?

– А Ромка нанялся к богатому купцу лес рубить, деньги зарабатывать. Засела в его душе лютая тоска: ни жить ни быть, – отыскать сынка князя, загубившего жизнь его невесты да и разодрать этого франтоватого лягуша при всем честном народе.

– Разодрал?

– Не допустил Господь. Убило его падающей лесиной. – Бабушка осеняет себя крестом. – Помилуй, Боже, их души – Романа да Варвары.

– Бабушка! А ты не боишься ходить за орехами к этому омуту?

– Не боюсь, внучка. Я к его ядовитой воде не подойду, а что по краю оврага орехи собираю, так это делать сам Бог велит. Вот на Рождество Христово деток сирот в приюте орешками одарим. Уж как радехоньки будут детушки, судьбой обделенные. А теперь давай-ка за дело приниматься, солнышко уже вон как высоко поднялось. Натолкаем в свои торбешки орешков, сколь наших с тобой силенок хватит дотащить до дому.

Рвать орехи совсем не тяжелый труд, они созревают кулачками, по несколько орехов в одном кулачке, плотно приросшими друг к другу.

Ветки орешника росли низко и размашисто, садись на землю и работай, получай удовольствие. Бабушка рядом, она не отпускает меня ни на шаг от себя. Возможно, и ей не по себе над кручей этого оврага с его омутом. Но такого пышного орешника и таких крупных орехов нигде больше не попадалось. А меня вновь одолевают тайны Варькиной смерти.

– Бабушка! А как узнали, что Варя утонула в этом омуте? Никто же этого не видел.

– Она на камне оставила свою одежду. Сняла крестик с шеи, колечко с пальца, освободила уши от сережек, и все это прижала валуном, чтоб не сдуло ветром и не растащили вороны, и бросилась в омут голенькая, какой мать родила. А уж что она перед кончиной сказала омуту, то навсегда останется ее тайной.

Покидая овраг, мы поклонились ему с его плакучими ивами, березами и шальным от радости жизни орешником. Шли медленно, часто отдыхали по несколько минут и, отдышавшись, продолжали свой путь уже знакомым бездорожьем. Встречали бабушкины секреты: то ветку, воткнутую в трухлявый пенек, то связанные узлом плети берез, то на елке зарубку – стрелку, выцарапанную ножом.

– В лесу недолго голову потерять. Закружит, замутит память – чур нас, грешных! – знак сотвори, и крестом осени. Прошли мы, внучка, ровно половину пути. Бог даст, и остальные восемь одолеем. – Она подмигнула мне какими-то совсем не уставшими глазами и так хорошо улыбнулась, что я сразу же догадалась: «У бабушки приготовлен сюрприз». И правда, – пошарив рукой в своей куртке с необъятными карманами, она извлекла завернутые в белую тряпицу пироги, румяные, запашистые, с начинкой внутри из яблок с брусникой и заячьей капустой.

– Ай да бабушка, ай да колдунья, – прыгала я от радости.

А когда она еще из какого-то кармана вытащила бутылку крепко заваренного чая со смородиновым листом, восторгу моему не было границ.

– Угомонись! Не то еще медведя накличешь. Развеселилась не к месту.

Я струхнула при слове «медведь» и угомонилась, наслаждаясь пирогом и чашкой чая.

– И как ты, бабушка, всю эту тяжесть на себе несла, а я и не заметила.

– Подрастешь, все станешь замечать: и хорошее, и худое. И тут уж сама думай, смекай, – что к чему.

– Бабушка, а тебе когда лучше жилось: теперь или при помещиках?

Бабушка натягивает на плечи свою тяжелую ношу, будто в ее торбе с лямками не орехи, а железные гайки. Мне эту поклажу с места не сдвинуть.

– Пошли, внучка. Время уже давно за предел перевалило.

– Бабушка! А что с тем князевым сыном стало, что Варюшу обидел?

– А он подох от больно срамной французской болезни. Весь заживо сгнил. Князь привез его поганое тело в железном гробу и замуровал в склепе на фамильном кладбище. Говорили, что на это захоронение ублюдка, княжеского гаденьша, как только солнце к закату, слетаются стаи ворон и учиняют такой невыносимый грай, что у крещеного люда мороз по коже.

– Ты не обижаешься на меня, бабушка, что я у тебя все спрашиваю и спрашиваю.

– Спрашивай, когда интерес имеешь. Что знаю, помню – расскажу. Может, когда и сгодится в твоей жизни.

– А вот мне интересно про помещиков. Их разорили, выгнали с усадеб, тебе их жалко?

– Как не жалко, все же человек, семья, дети. Даже любую животину жалко, когда ее гнездо зорят, выживают из собственной берлоги, гнезда. А то – человек! Он же свой дом, усадьбу с дворовыми постройками: сараями, хлевами, погребями не враз выстроил. Человек, пока он создавал свой раек, жильё, сам прирастал к нему, как прирастает черенок к дереву. А тут – кирпич на голову: смута, разор, круговерть в народе. Поживем – познаем, когда, кому и как поживется. А только все горше, тревожнее: что нас ждет?! А помещики, они всякие были. Такие, как Ян Ростковский, что обустроили поместье – чисто рай. А что с ним, этим раем, сотворили: разгромили горше татарской орды. Загубили! А кто? – лодыри, пьяницы, болтуны. А теперь они – власть, командуют: кого казнить, кого миловать. А у самих дворы в собственном говне, потому как нет скотины, нет хлеба в засеках, нет одежды. Вот и будут грабить у тех, кто потом и кровью нажил добро и выгонять их из собственного жилья. Худо будет, внучка, ой худо!

Мне очень хотелось рассказать бабушке про Антошку. Он с тялоховским «кулачком» овес у папы крадет и на махорку меняет, а еще из молитвенных книг листки вырывает на самокрутки и курит втихаря. Антошка говорит: «Надо жить по-новому!» Но я ничего не сказала, помнила, как бабушка просила не забывать: «Молчание – золото, а болтовня – скрежет по железу!»

Бабушка широко шагает и долго молчит, затем объявляет:

– Привал на десяток минуток. – Мы снимаем с усталых плеч свои ноши. Бабушка ложится на землю спиной и кладет ноги на пень. – Ты тоже сделай ногам своим отдых, они у тебя вон какие соломинки, а ты уже порядком отшагала. Это добро, что не скулишь, не жалуешься. И не жалуйся, впереди у тебя дорог да дорог...

Хорошо отдыхаем. Ноги блаженствуют. А я обратила внимание на сорок, они приближаются к нам по верхушкам деревьев и что-то вещают. Бабушка открыла глаза и приложила палец к своим губам. Я поняла: тревога! И бабушка, и я услышали, как потрескивают на земле сухие сучья. «Медведь!» – сказала бабушка, и я не успела сообразить, каким образом в правой руке моей тихой, доброй бабушки оказался кованый остроконечный нож, в левой руке – жестяная банка с несколькими гвоздями внутри.

Напоминающая воительницу, готовую к смертному бою, моя бабушка ударила ножом по банке с гвоздями с такой силой и быстротой, что, вероятно, страх погнал всех лесных зверюшек прочь от этого места.

А тут еще бабушка неожиданно залаяла, подражая самой злой собаке. Я, не зная что делать, тоже залаяла на весь бескрайний лес, и этот собачий дуэт был таким искренним под аккомпанемент звонкой трескотни кованого ножа по жестяной банке, что мы, перестав лаять и наводить страх на зверя, на мгновение смолкли и еще через мгновение обе расхохотались.

– Кончай, внучка, пугать медведишку. Он от страха, поди, всю свою путь побега загадил, объевшись лесными деликатесами. Тонюха, ты не рассказывай дома о том, как мы от медведя избавились, а то засмеют, особенно твой папаня.

– Ладно, бабушка, не буду рассказывать. Только я этот случай никогда не забуду, а вспомню – буду хохотать.

– От, дуреха. Смешочки ей. А разболтаешь, папаня твой будет за ужином просить: «Ну-ко, расскажите, как вы собачьим лаем медведя до поноса довели? Да и от вас до сих пор попахивает».

– Бабушка, миленькая Михалина Антоновна! А ты помнишь моего папу молодым?

– Как же не помнить его, этакого красавца. Глаза у него зеленые, как и у тебя. Ты похожа на своего батю. Когда его привез на гуту Тимофей Иванович, ох и забегали засидевшиеся в девках красотки, только он на них ноль внимания, а увидел мою горатницу Анютку, будто его молнией шарахнуло. Взял ее в жены с выводком пасынков. Сказал: «Дети быстро растут. Не успеешь оглянуться, как разлетятся по своим дорогам». Ну, я Фрузку забрала да к брату в Сызрань и укатила, подумала: «Трое – не четверо».

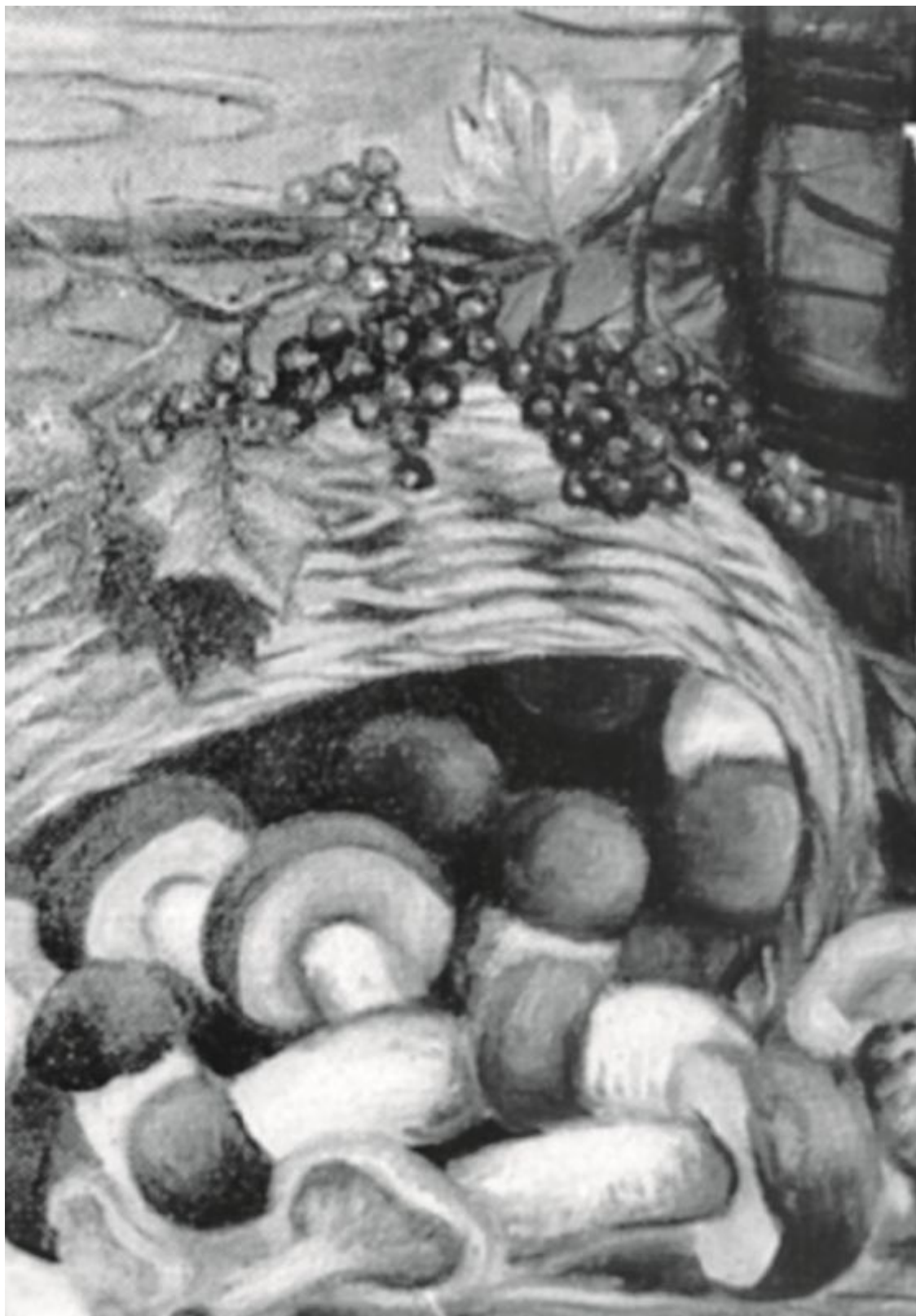
– Бабушка, миленькая, не уезжай больше в Сызрань к своему брату. Оставайся с нами, мы все тебя любим.

Бабушка карабкается, преодолевая валежины, я за ней, стараюсь не отставать. Одолели бурелом, присели отдышаться.

– Ты, внучка, думаешь, что я рвусь в Сызрань к своему братцу? Не-ет, моя дорогуша, не рвусь. Брат сестру любит богатую, а у меня какие богатства? Одни года накопила да разные старческие болезни.

– Бабушка, ты еще никакая не старческая, ты сильная и отчаянно смелая. Если б на нас медведь напал, ты бы его могла ножом...

– Медведь – зверь серьезный, с ним лучше не связываться в бою, а вот напугать – милое дело. Убегай себе, миша, куда подале в чашобу.



– Бабушка, не уезжай в Сызрань. Мне с тобой так хорошо.

– Не будем, Тонюха, загадывать надолго. Все будет, как Богу угодно. А только из Бабаевова вы вернетесь на стекольный завод. Года через три вернетесь. Там начали новые дома для рабочих строить, аж две улицы. А дома-то, дома – не чета старым: окна большие, крыши железом крытые. Стены – бревнышко к бревнышку, опиленные бока, гладкие, что доски половые.

Смолка на них бисером выступила. А еще строят клуб, школу и больницу, аккуратно в конце улицы, где Андрюшке квартира обещана, как молодому рабочему, потомственному стеклодуву.

– Ну, как он там живет? Большой уже.

– Длинный, худющий, нос горбатый, как и вся курсаковская порода. Может, турки в их роду были. Горбоносые, но белобрысые. Андрей сказал мне: «Пускай отчим семью на завод перевозит. Хватит ребятишкам бабаедовского рая. Кончилось Бабаедрово». Сад вырубил, за земли споры до драк. И вообще над крестьянством сгустились грозные тучи. Так толкуют люди – не чета нам. Поостепенился наш старшой Курсаков. Я как твоему папаше рассказала, он задумался: «Надо ехать, – сказал, – буду писать письмо Тимофею Ивановичу, другу, пускай поговорит с начальством».

За два месяца до нашего отъезда из Бабаедова бабушка Михалина Антоновна уехала к внуку Андрею.

– Один там он, да и Павлик с ним, надо ребятам помочь. А ты не скучай без меня. Я так думаю, что вы все переедете на стекольный завод. Вам надо учиться. А в Бабаедрове был рай да кончился.

Бабушка уехала и я сильно скучала без нее. Часто заберусь в какой-нибудь уголок и плачу. Мама найдет меня, возьмет за ручонку, приведет домой:

– Ты что ж все время плачешь да плачешь? Бабушка поехала помочь твоим братьям. Там у них и коровка, и огородик. А соседка, что им помогает, она ж им чужая. А бабушка такая же родная им, как и тебе. Может, даст Бог и мы скоро уедем туда. Вот придет сербиянка и погадает.

Сербиянка была знахаркой, а возможно, и колдуньей. Конечно, у нее было какое-то другое имя и, я думаю, очень красивое. Но она никому его не называла: «Сербиянка – мое имя!» Когда она появлялась в нашем жилище, я с каким-то непонятным трепетом не могла глаз от нее оторвать. Она мне очень нравилась. Смуглое красивое лицо, брови – два классических взмаха кистью японского художника и под ними глаза – сплошная загадка. Невозможно было определить, сколько ей лет: то ли очень много, то ли в самый раз для жизни. На высокой стройной шее – серебряные мониста, в ушах внушительных размеров серьги-полумесяцы, тонкие пальцы почти коричневого цвета украшены массивными серебряными перстнями, на запястье правой руки серебряные браслеты самых удивительных форм. Ее нельзя было ни обидеть, ни ограбить отпетым ухарям. Сербиянка не боялась стай свирепых деревенских собак. Остановится, как вкопанная, правую руку ладонью к врагам, пальцы в перстнях растопырит веером, брякнет браслетами: охальники-ухари в оторопи отступают, собаки прекращают лай и, позевывая, убираются восвояси.

С мамой сербиянка познакомилась на опушке леса. Была у мамы страсть собирать грибы, и не всякие, а только кубари, или, как их у нас называли, валуи. Их в сезон, в конце лета, да если еще грибные дождички проморосят, вылезает из земли такое множество, что хоть косой коси. Да такие ядрененькие крепыши – любо-дорого. Бабаедовцы их и за грибы не считали. Но когда отец угостил деда Лявона грибами, засоленными по бабушкиному рецепту, тот не мог нахвалиться и после чарки перцовки откушал этих валуйчиков с добрую глиняную миску. Бабушка поклонилась гостю и выставила на стол новую порцию грибов с погребца, из дубовой кадушки, таких аппетитных, с дольками чеснока и кореньями хрена, с листом смородиновым и лавровым, с горошинками перца, семенами укропа. Насытившись, дед Лявон поклонился и сказал: «Царствуй добро в этом доме!»

Доброе слово такого человека, как Лявон, – это удача, дорогого стоит. А тут вскорости пришло время валуи собирать. Мама за корзину да в лес. Мигом набрала ее, пудовую, донесла до дороги, нагнулась поставить на обочину да и ойкнула от острой боли в крестце.

Сидит рядом со здоровенной корзиной любимых грибочков и плачет: ни шевельнуться, ни вздохнуть, ни охнуть.

Тут на нее и набрела Сербиянка.

– Чего сидишь и плачешь?

– В крестец боль ударила – не шелохнуться.

– Давай помогу. – Она подхватила корзину с грибами и, звякнув серебром браслет, приказала:

– Вставай, пойдем. Дома полечу.

– Не подняться мне.

– Еще как, Анна, поднимешься. Давай руку.

До дома дотащились. Только переступили порог, как мама упала на пол с криком от острой боли. Бабушка всполошилась:

– Тайком от всех улизнула в лес. Что, у тебя некому этих валуев натаскать?

– Хотелось самой.

Сербиянка спросила у бабушки:

– Дежа хлебная есть?

– А как без нее. Есть.

– Тащите к порогу.

А тут и отец пришел. Смотрит, жена лежит животом на пороге, на ее спине хлебная дежа, и какая-то красотка колдует.

Бабушка строго посмотрела на папу и приложила палец к губам. Через несколько минут Сербиянка сняла дежу-хлебницу со спины мамы, покрутила пальцами в перстнях над прикрытым полотенцем крестцом, сказала:

– Вставай, Анна. Боль твоя ушла за порог.

Мама поднялась, стала наклоняться то в одну сторону, то в другую.

– Господи! Будто и не было никакой муки. Тебя зовут Сербиянка? Я слыхала про тебя, да не верила рассказам людей. Сейчас на себе испытала. Спасибо тебе. Отобедай с нами, кудесница. Мойте руки да все за стол.

Через какое-то время Сербиянка вновь появилась в нашем доме.

– Здравствуйте, люди добрые.

Гостья глянула на полнехонькую корзину кубариков, поблескивающих глянцевыми шапочками, схожими с детскими загорелыми кулачками.

– Опять втихаря до восхода солнца в лес бегала, неугомная твоя головушка?

– Да со мной, слава Богу, все добро. А вот...

– Да знаю, твоя зеленоглазая красавица по любимой бабушке тоской мается.

– Все-то ты знаешь: что с кем случается. Про тебя хотела спросить, да страшно, от Бога ли твой дар.

– Все, что дано человеку – от Бога. А про вашу семью скажу, что вскорости вы уедете из Бабаедова. В этот ваш домок вернется с войны прежний хозяин. Без ноги. Будет свадьба. Наталья-погорелица станет ему женой. Будут вместе растить Натальиных детей. Да они и сами скоро пойдут по своим дорожкам-путинкам.

Сербиянка села со мной рядом.

– Ты меня не боишься?

Я мотнула головой.

– А я тебе нравлюсь?

– Вы красивая.

– А тебе мои браслетики нравятся? – Не дождавшись ответа, она ловко отстегнула один из многих на своем запястье. Он был похож на змейку. – Это добрая змейка, она поможет тебе

быть мудрой, поняла? Давай-ка ручонку. – И она защелкнула эту тоненькую змейку на моей руке. – Змейка не желает твоей тоски да и бабушке она не по душе.

Сербиянка закрыла глаза, и ее губы невнятно и очень быстро выговаривали слова, возможно, молитвы, на каком-то чужом языке. Взяла мою руку, перевернула вверх ладонкой:

– Тебя крылья поднимут над омутами адовой жизни, пройдешь дороги свои, ох, трясинные, ох, каменистые, крутогорые, днями обледенелыми, ночами грозowymi.

Мама застыла с ножом в руке над миской с кубариками. По щекам ее скатывались продолговатые слезы. Хорошо, что папа вовремя ушел, не стал слушать «бабские забавы». А мне было интересно все, что говорила эта необыкновенная Сербиянка.

– А меня не убьют эти молнии с громом?

– Тебя не убьют, ты будешь жить долго, а вот твои братики, – она посмотрела на меня, – твои братики – как судьба распорядится, и этого никто не может знать.

Но Сербиянка все знала, этот дар был дан ей свыше нашего понимания.

– Ухожу я, Анна, на свою родину. Походила по России вволюшку. Насмотрелась, наслушалась, помогала людям, сколь могла. Что было – видела, а что будет – ни видеть, ни слышать не хочу. Мне не выдюжить, больно велика и ненасытна будет сила зла на земле российской.

Мама выложила на стол румяный каравай хлеба, испеченный на капустных листьях, кусочек сала, десяток ароматных антоновок:

– Это тебе на дорогу.

– Спасибо, Анна. Помоги, Бог, семье твоей. Прощай и ты, зеленоглазка. Через много-много лет, когда зеленый цвет твоих глаз потускнеет, а душа, настрадавшись, утихомирится, напишешь ты книгу. Начнешь свое повествование с молодых годов твоих отца с матерью. Сто годочков загонишь ты в свое творение, как пастух загоняет косяки лошадей в загон. Ты, светлая головушка, расти, набирайся ума, барахтайся без надежды на помощь отца с матерью. Сама, сама, до конца своих дней – все сама. Три раза будет к тебе подбираться та, что с косою бродит да человеческие жизни скашивает, – отобьешься! Не скоро, ой не скоро ты скумекаешь, что тебе сотворить с пролетевшими косяками да табунами прожитых годов. Вот тебе загадка на всю жизнь. А я пошла. Я покидаю Россию, пускай без меня вершится ее судьба. А мне только бы поскорее оказаться на пороге родного очага.

– А что тебя заставило покинуть родину? – спросила мама.

– Это моя тайна. У каждого человека есть тайна. Пускай он с ней и живет-поживает.

Сербиянка поклонилась, дошла до двери, обернулась:

– Знаю, Анна, хочешь спросить про себя. Уедете вы на завод. Только запомни, куда б вас судьба ни загнала, она всюду за вами, не отстанет. Храни всех вас, небесная сила.

И ушла. И больше мы ее никогда не встречали, не видели. Пророчества же Сербиянки сбывались.

17

Отец погоняет коня и молчит. Сжавшись в комочек, я пристроилась на телеге за его спиной и тоже молчу. Мы задумались, каждый о своем...

Мне грустно и тревожно: впервые покидаю родную деревню Бабаедово, маму, бабушку, братьев. Отец везет меня в Кузьмино. Узкая, малоезженная дорога вьется мимо густого ельника, мимо берез и осин. Деревца словно отскочили от дороги в ложки и канавки и там затихли, ни один листок не шелохнется.

Мы проезжаем мимо сжатых полосок ржи. По стерне расхаживают вороны, выискивая опавшие зерна, – кормятся. Ни с того ни с сего вспомнилась частушка, не раз спетая голосистой теткой Аленой на гулянках в Бабаедове:

Ходит по полю ворона,
Ходит, озирается.
Где-то счастье мое бродит,
Мне не попадается...

Отец обернулся:

– Ну, как ты, дочка, не заснула? А то заснешь да вывалишься с воза.

– Не заснула и с воза не свалюсь – не маленькая! – отвечаю бодро.

– Но-о-о ты, лайдак! – погоняет отец коня. – Двенадцать верст будем таким ходом целый день ехать. Но-о-о, шевелись!

Просвистел в воздухе кнут. Конь побежал быстрее, телега запрыгала на неровностях дороги. В тархтении колес опять, как наваждение, слышится мне голос Алены:

Дыбом встали, дыбом встали
Надо мною небеса,
Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса...

В Кузьмине этой осенью открывается школа-четырёхлетка. Отец оставит меня у своих очень дальних родственников Атрашкевичей. Как говорила моя бабушка Михалина Антоновна, семья эта не от мира сего. Живут холостяками: братья не женились, сестра замуж не вышла. Вот так втроем и ведут хозяйство Адам, Вениамин и Анеля. Хлеб у них до нового не выводится, скотины полон двор. В небольшом саду за гумном – пять ульев.

В доме Атрашкевичей всегда мир и согласие, никто из соседей никогда не слышал у них ни шума, ни ругани. Таких работяг, как Адам, Вениамин и Анеля, надо поискать. Со всем своим большим хозяйством управляют сами, даже в горячую страдную пору ни разу не нанимали помощников со стороны, говорили: «Чужими руками легко жар загребать!»

– Ну вот мы и в Кузьмине, приехали, слава Богу, – сказал отец, придерживая коня.

Жили Атрашкевичи в небольшом деревянном доме с четырьмя окнами на дорогу, по которой редко кто проезжал. Дом состарился, осел, но был еще крепок. Напротив окон через дорогу, на возвышенном месте, окруженный старыми липами белел двумя колоннами и широкими ступенями крыльца бывший панский дом. Теперь это – школа. В школе окна большие, сверху округлые. Над крытой гонтом крышей – три высокие беленые трубы, а над ними – диковинные дымары. Я не могла глаз оторвать от этого дома, от крыльца с колоннами, от дымарей, но тут отец позвал меня.

– Как зайдем к Атрашкевичам, поздоровайся! – предупредил он. – Не то осрамишь батьку.

Переступив порог, я увидела: сидят на лавке рядом три пожилых человека, руки сложили на коленях, молчат, и все трое рассматривают меня, как чудо какое. Отец подтолкнул в спину, мол, здоровайся. Я неловко поклонилась:

– Добрый день, тетя Анеля, дядя Адам и дядя Веня.

– Добрый, добрый. Проходи, садись. Сей день гостьей нашей будешь, – первой приветствовала меня тетка Анеля.

Они продолжали разглядывать мои ботинки на вырост, связанную из грубой овечьей шерсти серую кофтенку с пояском, подол бумазейного платья, от расцветки которого в глазах рябило. Это платье я сама заработала, пася гусей у Тялоха, нашего соседа. Наконец Атрашкевичи стали изучать мое лицо. Я опустила голову, прижалась к отцу.

– Ну, что там долго думать да гадать, оставляй, человека, дочку. Нехай живе, нехай вучицца, – на правах старшего в семье решил мою судьбу дядька Адам.

– Небось, не объест. Одно надо, чтоб не ленилась да не была бы шкодой, – сказал свое и дядька Вениамин.

– А даром она у меня хлеб есть не будет, мне помощница во как надобна! Кур, свиней когда покормить, теленка напоить, в хате прибрать, учиться – учись, когда голова позволяет, але ж и дома надо тое-сее не забывать сделать! – сказала Анеля и поднялась с лавки, чтобы собрать на стол перекусить.

– Ваша правда, Анеля! – вздохнул отец. – Помогать надо!

Он подсел к братьям Атрашкевичам и стал с ними тихо о чем-то разговаривать. А я сидела на лавке, как пришибленная, и думала: «А что, если Атрашкевичи завалят работой и не дадут учиться, уроки делать? Тогда меня могут из школы выгнать...».

Отец зимой научил меня читать, писать, задачки решать, и мне уже давно не терпелось учиться в школе.

И вот – Кузьмино!

Отобедав с Атрашкевичами, отец попрощался с ними и пошел к телеге. Я, как тень, – за ним. Он протянул руку, погладил мою голову и, вероятно, хотел сказать что-то очень важное для меня, но только крикнул, залез на телегу и взял вожжи.

– Учись, старайся. Дядьев и тетку слушайся, не перечь им. Стерпи, дочка, когда что и не так...

И погнал коня, запылила дорога. Я стояла и смотрела, как удаляется телега. Вот за пыльной завесой уже и не видна согнутая спина отца. Сжалось сердце: я осталась одна среди чужих. Как же мне хотелось побежать за отцовской телегой, а она уже скрылась за поворотом; я всхлипла, смахнула ладошкой слезы со щек и повернулась к школе. Таинственные темные окна глядели на меня сурово и строго.

Тетка Анеля определила мне место для спанья в горнице, в боковой нише. На широкую, но коротенькую лавку положила она соломенный тюфячок, прикрыла его самотканой холстиной – это простыня. Сверху постелила еще одну самотканую рябушку – это одеяло. В изголовье умостила, тщательно взбив, подушонку в ситцевой наволочке. Мне тогда показалось, что постель получилась – просто загляденье, но позже, когда началась зима и к утру дом выстывал, я дрожала под тонкой рябушкой, как бездомная собачонка, пока однажды дядя Вениамин не встал ночью, чтоб накинуть на меня свой старенький полушубок.

Наискосок, напротив моей постели, в «красном куту», стояли стол, две широкие лавки со спинками из точеных балясинок. Весь угол до потолка был увешан иконами. Перед ними и днем, и ночью горел крохотный огонек лампадки.

Анеля раз в неделю, в субботу, подливала лампадного масла в темно-красный пузырек с тоненьким фитильком, и этот пузырек с огоньком опять водворялся ею на место в ажурное медное гнездо, подвешенное к потолку на трех медных цепочках.

С икон при тусклом свете лампадки на меня смотрели глаза святых и Бога. Скорбные, суровые, укоряющие. Такие глаза не могут улыбаться. Как-то заметив, что я внимательно разглядываю иконы, Анеля подошла ко мне и, опустив свою тяжелую шершавую руку на мое плечо, сказала:

– Ты глядишь на Бога, Бог глядит на тебя. Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный – повсюду. Запомни: где бы ты ни была, что бы ты ни делала – Бог все видит. Он по всей твоей жизни будет за тобой следить. За добрые твои дела – благословение его, а за дурные – наказание. И не доведи тебя, судьба, разгневать Бога, не доведи!

С этого дня, сколько я жила у Атрашкевичей, столько, по вечерам ложась спать, вглядываясь в таинственные лики на иконах, шептала: «Бог! Не гневайся на меня, я сегодня ничего дурного не сделала...»

18

Мой первый день учебы в кузьминской школе начался с того, что тетка Анеля рано утром отвела меня в класс и обратилась к ребятишкам, переставшим озорничать при нашем появлении.

– Эта моя племянница, Тоня. Чтоб не обижали. Она будет разом с вами учиться.

И тут в класс вошла учительница. Красивая, с ажурным белым шарфом на плечах.

– А-а-а, девочку из Бабаедова в школу привели? Знаю, знаю. С ее отцом разговаривала.

Она слегка дотронулась до моей руки, и я ощутила дивный аромат, исходящий от ее белых тонких пальцев и от ее нарядной одежды. Вспомнила, что тетка Анеля рассказывала про учительницу: «Евгения Петровна – дочка богатых людей и единая их наследница. Да только люди про них говорят всякое...» А что говорят люди, Анеля пояснить не стала.

– Вы, Анеля Яновна, можете идти домой по своим делам, а мы тут справимся. И вот при вас я посажу вашу племянницу сюда!

Учительница подвела меня к парте, где уже сидела рослая румяная девочка. Тетя Анеля ушла.

Учительница начала урок. Она называла всех по фамилии и отмечала в тетрадке, кого на уроке не было. Девочку, которая сидела рядом со мной, звали Аней. Фамилия ее была для меня необычная – Седых.

Потом Евгения Петровна закрыла тетрадку и спросила:

– Кто из вас, дети, знает азбуку? Поднимите руки, кто грамотей?

Одна Аня Седых смело подняла руку.

– Пойди, Аня Седых, к доске и напиши все буквы, какие ты знаешь. Вот тебе мел. Аня вышла из-за парты, взяла у учительницы мел и стала писать. Она очень красиво написала все буквы.

– Хорошо! – похвалила Евгения Петровна Аню и, подойдя к доске, тряпочкой стерла одну букву, сказав, что «ять» – буква лишняя. – А можешь ты, Аня, ответить, сколько будет, если к трем прибавать четыре?

– Семь.

– А если к восьми прибавать три?

– Получится одиннадцать.

– А можешь ты на доске написать: «Мама мыла рамы»?

Аня написала, старательно выводя каждую букву.

– Хорошо, Аня, садись на свое место. А кто у нас еще грамотей?

Все дети молчали, молчала и я...

– Ну а что же ты, Тоня, не признаешься, что умеешь читать, писать и решать задачки? – обратилась Евгения Петровна ко мне. – Твой отец говорил, что он занимался с тобой всю зиму и ты постигла азы грамоты. Раз так, иди к доске и напиши: «Я учусь в школе».

Замирая от робости и смущения из-за своих неуклюжих ботинок – уж лучше бы лапти! – подошла к доске, взяла мел и стала писать, стараясь, чтоб получилось не хуже, чем у Ани. Когда закончила, учительница спросила:

– А задачки умеешь решать? Я кивнула.

– Тогда придумай задачку и реши ее.

Сколько же задачек придумали мы с отцом длинными зимними вечерами. За оконцем темень, метель бушует, мама нас спать гонит, а мы при тусклом свете керосиновой лампы все еще то читаем, то решаем задачки...

– На лугу паслись гуси, – вспомнила я тялоховских гусей, – их было десять. Четыре гуся подошли к воде и поплыли, остальные плавать не захотели и остались на лугу. Сколько гусей осталось на лугу? – спросила я сама себя и тут же ответила: – Шесть!

Учительница одобрительно улыбнулась, а парнишка в аккуратном френчике из черного сукна, что сидел на первой парте и внимательно разглядывал мои ботинки навырост, ляпнул:

– Задавала гусяная!

– Ой, ой, Стась! Завидуешь? – укорила его учительница. – Не завидуй, научись и ты и писать, и решать задачи. И каким задавалой ты тогда будешь?

– Козлиным! – подсказала Аня Седых. – У них козел больно бодачий.

Ребятишки весело рассмеялись, а Стась обернулся к классу и показал всем язык, да еще и кулаком погрозил.

– Я вас обеих перевожу во второй класс, – обрадовала Аню и меня учительница, – и заниматься с вами буду отдельно. Со всеми же остальными первоклассниками мы станем учить азбуку, будем учиться читать, писать и, конечно же, займемся арифметикой. А еще я расскажу вам, дети, много интересного, чего вы сейчас не знаете.

На перемене, о которой оповестил залиvistый звонок в руках школьной уборщицы, сторожихи и истопницы бабы Евы, к Ане подошел Стась Лавицкий – фронт фронт по сравнению со всеми другими учениками.

Пригладив ладошкой белесый чуб над белесыми бровями, он заговорил с Аней, но так, чтоб и я слышала.

– Учительница назначила меня старостой!

– Ну и что теперь будет? – с вызовом спросила Аня.

– А то будет, что теперь я сильнее всех стану вас ремнем по ребрам хлестать, – ответил Стась, подумал и добавил: – Чтоб не задавались!

– А я брату Петру скажу, он тебя поймает да так отхлещет, что не обрадуешься.

– А я вот эту, бабаедовскую, ремнем! – не унимался Стась. – У нее тут никого нет, а старых Атрашкевичей я не боюсь.

– А мой брат и за мою подружку, если ты ее обидишь, наподдает тебе. Иди, иди, Стах Лавицкий, не испугались!

Прошло несколько дней занятий в школе, и я уже не мыслила жизни без Ани Седых. Меня к ней тянуло неудержимо. Я восхищалась ее смелостью и прямо-таки взрослой самостоятельностью. Она знала, как нужно поступать, когда сталкивалась со сложностями, что и кому ответить, если допекают ребяташки, как надо разговаривать с учительницей – по-деловому и с достоинством. Я же перед учительницей всегда робела, а когда обижали, забивалась в закуток и плакала, чтоб никто не видел, даже Аня. Мне очень хотелось быть похожей на Аню. А тут еще принесла она в класс свой рисунок. На листке бумаги из тетрадки в косую линейку была нарисована красная девица в нарядной блузке с монистами на шее. На широких рукавах вышивка крестиком, пестрая юбка в клеточку и передник с кружевами. На грудь красной девицы была перекинута коса. Голову ее украшал веночек из лазоревых розанов. Все это дивное диво было расцвечено красками, Аня назвала их водяными. Смотрела я заворуженно, не могла глаз отвести от Аниной картинки.

– Аня! Ты это сама, сама нарисовала? – спросила я оторопело.

– А то кто же? Конечно, сама!

Всю длинную ночь мне снилась Анина красна девица. Будто идет она ко мне, чернобровая, алогубая, розовощекая и поет голосом нашей бабаедовской тетеньки Алёны:

Сама садик я садила,
Сама буду поливать...

От ее пения я просыпалась, слушала, как шелестит за стеной вьюга, как гудит ветер в печной трубе, и засыпала. И опять являлась красна девица с монистами на шее и пела про садик и про милого, которого она любила, и про бабаедовские вербы над водой...

Утром пораньше побежала в школу, надеясь, что и Аня придет задолго до звонка. Но Аня пришла к самому началу занятий. Мы сразу же получили задание от Евгении Петровны и принялись за дело, но у меня не хватило терпения дождаться перемены, чтоб поговорить с Аней, и я во время урока шепотком приставала к ней с расспросами: где же продаются такие водяные краски? Сколько они стоят, и может ли Аня научить меня рисовать так же красиво, как рисует она? Мы так увлеклись беседой на очень волнующую меня тему, что совершенно забыли о старосте Стасе. А он был начеку. Весь класс замирал, когда Стась расправлялся с очередной жертвой. Ремнем он орудовал умело. Но в этот миг мне было не до Стася, я не могла опомниться от счастья: Аня обещала дать мне краски и тогда я смогу нарисовать, может быть, точно такую же красну девицу, а может, что-то иное, но непременно расчудесное. Вдруг послышался резкий свист ремня, и боль обожгла мне плечо, щеку и ухо. Я вскрикнула, слезы брызнули из глаз. И тут Аня... Она рысью бросилась на Стася, обеими руками вцепилась в его белесый чуб и со всей силой начала дергать голову старосты то вправо, то влево, приговаривая:

– Это тебе не царское время! Ленин не велит бить ребят в школе! Ты, жандармская морда, не имеешь права бить ремнем ребят в советской школе! Понял, бодачая козлиная задавала? Забыв о боли, я во все глаза смотрела на Аню, как она дергает этого рослого франта и он беспомощно мотается, пытаясь все же ударить ремнем и Аню. И он ее ударил бы, если б она отпустила его чуб. «Ах, вот как!» – возмутилась я и, не раздумывая, схватила ремень, который держал Стась, и рванула его. Когда же ремень оказался в моих руках, я несколько раз ударила им по согнутой спине старосты. И тут-то Стась завизжал как поросенок, застрявший меж досок забора...

Весь класс ликовал: ведь ученики все до одного уже испытали на своих ребрах и плечах удары ремня Стася Лавицкого и сейчас искренне радовались, что староста посрамлен.

Евгения Петровна, до этого момента не пресекавшая действий своего помощника, подошла к нему. Лицо у нее было сердитое и пунцово-красное.

– Ты, Стась Лавицкий, будешь наказан! – громко объявила учительница и, взяв его за ухо, отвела на место, толкнув на сиденье первой парты. Я все еще держала в руках ремень, потрясенная всем тем, что только что произошло. Аня взяла ремень Стася из моих рук и положила его на учительский стол. Мы сели на свои места. Наступила томительная тишина.

И вот тут-то Стась не выдержал своего позора, взорвался:

– Сами ж велели стегать их всех, а теперь за уши хватаете! – и заревел.

Евгения Петровна за руку вывела ревущего старосту за дверь, села за учительский стол и, не замечая ремня, лежавшего у нее перед носом, повернулась к окну. Задумалась. «Красивая, да уж больно сердитая! – думала я, разглядывая ее красное ухо с золотой сережкой. – Если бы снять с нее этот нарядный костюм и ажурный белый шарф да надеть на нее мою серую кусачую кофтенку и мои ботинки, тогда бы она была похожа на Марысю-дурочку, что ходит по деревням и просит кусочки хлеба у людей. А то богато нарядилась, надушилась, ходит по классу в своих лакированных туфельках – тук-тук! – а сама не только Стасю дала волю бить детей, но и собственными руками нет-нет и рванет девчонку за косичку или парнишку за чубок. А разве ж они виноваты, что не могут запомнить какую-нибудь букву. А вот Стасю все сходило с рук, все прощалось. А он за всю зиму, должно быть, и азбуки не выучит: показывает букву «ф», говорит – «е», показывает букву «твердый знак» и называет его «б»...»

Вечером, придя из школы, я все рассказала Атрашкевичам. Старики сели на лавку, сложили руки на коленях, задумались.

– Ты знай свое – учись, а в эти дела не встривай! – посоветовал Адам.

– Дак как же ей не встравать, когда ее ж Стась Лавицкий и хлестанул. Глянь, якое вухо, и на щеке красный рубец! – возразил ему Вениамин. – Тут не утерпишь, чтоб не встравать...

– А я так думаю, – заметила Анеля, – брат Анюты, Петро, так этого не оставит, он непременно побывает в районе у начальства. Сейчас порядки в школе не те, что были. Евгения Петровна за такие строгости может и ответ держать.

Дня через три после происшедшего у нас в классе приехал в Кузьмино из района дяденька: худощавый, борода рыжая, очки на носу. Мы сидели в классе тихо, как напуганные мыши, и ждали: что-то теперь будет? А приезжий дяденька в учительской долго вел секретную беседу с Евгенией Петровной. Баба Ева не звонила на переменку, изредка заглядывала к нам в класс, грозила пальцем, сидите, мол, тихо и не плайте!

Когда учительница ушла в свою комнату, где у нее стояли большая никелированная кровать с периной и атласным покрывалом и приземистый комод с ящиками, и там закрылась, дяденька в очках стал вызывать к себе ребятшек, не всех сразу, а по три-четыре человека. Он расспрашивал их, как они учатся, как дома живут, как уроки готовят, стараются ли? И как их наказывают в школе, когда они нарушают дисциплину. Ребята отвечали:

– А мы не лодырничаем, учиться стараемся. Только нет у нас тетрадок, не на чем писать.

– И задачи тоже не на чем решать. А еще – букварей мало.

– Да еще больно охота, чтоб глобус у нас был. А так мы не фулюганим...

Как только ребята избавлялись от робости, приезжий спрашивал:

– Ну, а за что же вас Стась Лавицкий ремнем лупцевал?

– А за то, что когда спросишь что-нибудь у товарища или голову к окну повернешь...

– Да бил он нас так крепко, как палач!

– И что же, он так каждый день ходил по классу с ремнем в руках и хлестал вас? – уточнял дяденька в очках.

– А то как же? Каждый день! – отвечали ребята. – У нас двое парнишек, Костя Шорох и Саня Грибок, перестали в школу ходить. Стась им крепко напощивал за то, что они хотели у него ремень вырвать.

– Ага! Он вон какой здоровенный, у них дома сала и колбас навалом. У такого мурла разве вырвешь ремень? А учительница еще на Костю и Саньку накричала... Они ж хорошие, не лодыри!

Бородатый дяденька из района вызвал и меня с Аней. Входим в учительскую, а ноги дрожат от страха: а ну как скажет, что мы во всем виноваты, и исключит нас из школы, тогда как?

– Ну-с, как вам живется? – спросил он, поглаживая бородку. Мы молчим.

– Кто из вас самая храбрая?

– Аня храбрая! – подсказала я.

– Ну вот пусть Аня и расскажет, как она боролась за справедливость.

– А что ж он, Стах Лавицкий, все ремнем и ремнем. Что мы ему, собаки? Подкрадывается, как волчина, и бьет ребят со всего маху. Ну я его за это крепко за чуб надергала.

– Надергала, говоришь?

– Ага, надергала. Вот он Тоню, девочку из Бабаедова, ударил, я и не утерпела. У нее ж тут никого из родителей нет, живет у дальних родичей, а они уже старые, – горячо объясняла Аня.

– За то, что за товарку заступилась, – молодец. Только драться, да еще девочке, не больно-то хорошо, как ты сама думаешь?

– Значит, Стась Лавицкий ни за что может бить девочек и ребят, раз его старостой учительница назначила, а мы и защищаться не должны?

Дяденька усмехнулся в бородку, потряс головой:

– До чего ж ты, Аня, похожа на своего брата Петра... Ну-с-с, а теперь обе идите в класс и старайтесь в дальнейшем учиться так, чтоб из вас толковые люди получились.

Мы уже шагнули к двери, но дяденька нас остановил:

– А как тебе, девочка из Бабаедова, живется у Атрашкевичей? Не обижают, работой не больно нагружают? – спросил он.

– Не-а! – поспешила я ответить. – Они добрые. А помогать же надо по хозяйству, делать то-се, не даром же ихний хлеб есть.

– Они люди набожные, тебя заставляют Богу молиться?

– Не-а, не заставляют. А сами молятся. И дядя Адам знает молитву от укуса бешеной собаки. Он наговорит эту молитву на краюху хлеба и даст съесть тому, кого покусала собака.

– И помогает? – поинтересовался дяденька из района.

– Помогает! К нему едут из разных деревень за помощью. Плату всякую привозят, только он ничего у людей не берет, даже сильно сердится. Говорит: «Бедным отдайте, сиротам...»

Дяденька поправил очки на носу, задумался.

– Вы все ж, девчата, на дяди Адамову молитву не очень-то надейтесь и бешеных собак остерегайтесь, много их развелось. Есть случаи и в нашем районе: кусают и скот, и людей...

Больше дяденька из района никого в учительскую не вызывал и к вечеру уехал. А на следующий день за Евгенией Петровной приехал ее отец, хмурый бородатый дядька. Пара сытых коней стояла у школьного крыльца, и отец Евгении Петровны выносил ее пожитки и укладывал в просторную бричку. А никелированная кровать с блестящими шишечками и комод остались на месте, это было казенное добро, а не учительничино. Его бросили помещики, когда бежали из своего дома с колоннами. Хмурый дядька хотел было забрать это казенное добро, но баба Ева оказалась начеку:

– Не хапай, раз не твое! Добро это теперь народное, я за него в ответе.

Дядька отругал бабу Еву и понес к бричке большой черный чемодан, не взглянув на ребят, высыпавших на крыльцо, стал его привязывать. Когда Евгения Петровна, даже не повернув головы в нашу сторону, уселась в бричку, хмурый дядька одарил нас, ребяташек, таким тяжелым и злым взглядом, будто мы были не дети, а стая волков. Он сел рядом со своей дочкой и гикнул на лошадей,огрев их кнутом. Лошади рванули с места и умчались, унесли нашу учительницу Евгению Петровну. Мы же стояли на крыльце с колоннами, ежась от колючего ветра со снегом. Мы готовы были все простить учительнице. Пусть бы она продолжала нас учить, как прежде, а то неизвестно, что нас ждет.

19

Несколько дней мы ходили в школу и занимались без учительницы. Нами командовала баба Ева. Она сидела в классе с метлой в руках, строгая и важная, и время от времени предупреждала: «Вот я вас...» Мы с Аней вели уроки, помогали ребятам осваивать азбуку, заставляли читать по слогам, решать примеры на сложение и вычитание. Но подчас мы не знали, что же делать дальше, чему и как учить, тогда мы рассказывали ребятам сказки и всякие страшные истории, крепко привирая.

Шел третий день нашей учебы без учительницы. Аня почитала ребятам стихотворение: «Уж я сеяла, сеяла ленок...», а закончив чтение, задумалась, по-взрослому вздохнула и повела рассказ о домовом, будто бы живущем под печкой в каждой деревенской избе. Ребята рты раскрыли, слушают – не шелохнутся, партой не скрипнут. Даже баба Ева заслушалась так, что забыла повторять: «Вот я вас!» И никто не увидел, не услышал, как тихонько приоткрылась дверь и в класс вошел человек. Вошел и замер, стоит и слушает. Но тут кто-то из ребят ойкнул, и тогда все заметили вошедшего. Баба Ева, спрятав метлу за спину, попятилась к двери. Аня с любопытством таращила глаза на незнакомого мужчину, одетого в гимнастерку, прервав свой рассказ на том месте, когда домовый насыпал бабке Федоре горсть соли в молоко.

Человек в военной гимнастерке весело рассмеялся:

– Ай да домовый, ай да проказник! – и он по-хозяйски подошел к учительскому столу, спросил:

– Тебя зовут Аней, ты сестра Петра Седых? Я угадал?

– Угадали. А как вы угадали?

– Да один человек рыжебородый рассказывал про тебя. Молодцы, дети, что зря время не теряли. Я тоже люблю сказки и считаю, что без сказок плохая жизнь была бы у ребят. Скучная жизнь. Ну, а теперь – здравствуйте! Все садитесь и давайте знакомиться: я ваш новый учитель, зовут меня Дмитрий Иванович, а фамилия моя Скворцов.

Уже через пару недель новый учитель покориł наши сердца так, что вели он прыгнуть в омут на мельнице, мы бы не задумываясь прыгнули. Вся деревня Кузьмино да и иные ближние деревни только о нем и судачили, и не диво: дети, рассказывая о Дмитрие Ивановиче, уши прожужжали своим родителям. Нас будто на крыльях несло по утрам в школу, чтоб поскорее увидеть своего учителя. В школу вернулись изгнанные ученики Саша Грибок и Костя Шорох. Что ни новый день, то радость для нас. Сначала появился глобус с морями, океанами, горами, реками, пустынями и странами, удивительными и незнакомыми. А вскоре мы держали в руках тетрадки в косую линейку и в клеточку, то-то было радости. Потом каждый получил ручку с перышком¹ 86, ластик и химический карандаш. Карандаш – для изготовления чернил. Хватит нам писать вместо чернил соком свеклы. Но самая большая радость была впереди... За месяц до Нового года Дмитрий Иванович, завершив последний урок, не ушел в учительскую, пожелав хорошего отдыха и добрых дел, как он всякий раз на прощание говорил, а попросил остаться на местах для важной беседы. Конечно же, мы остались и, сгорая от нетерпения, – что за беседа, о чем? – ждали.

Дмитрий Иванович потер руки, прошелся к окну и обратно к своему столу и, весело глянув на ребят, сказал:

– А теперь, ребятки, поговорим о театре. Знаете ли вы, что это за чудо – театр? А кто такие артисты? Костя Шорох поднял руку.

– Ну-ка, Костя, скажи, что ты знаешь о театре и артистах?

– Это Петрушки на ярмарке. Я их с тяткой видел, как они плясали, пели и разные штуки выделявали...

– А ты, Костя, хотел бы так, как они?

– Не-а!

– Почему?

– А мамка с тяткой заругают.

Дмитрий Иванович улыбнулся.

– Есть, дети, и другие театры, и другие артисты, не похожие на тех, что на ярмарках людей потешают. В таких театрах артисты не только веселят народ, но и учат людей, как надо жить по чести и по совести. Как надо защищать обиженных, слабых, как надо давать отпор жадным и жестоким нахалам. А знаете ли вы, почему я вам рассказываю о театре?

– Не знаем! – хором ответили мы.

– А потому, что и мы можем организовать в нашей школе свой самодеятельный театр, и все вы в нем можете стать артистами. И если вы постараетесь и хорошо справитесь со своим делом, ваши мамки и папки не будут вас ругать. А почему? А потому, что и им охота будет поглядеть на своих детей, как они на сцене правду от кривды защищают. Ну так как же мы решим, будем создавать в школе театр или нет?

– Будем! Будем! – дружно закричали мы и захлопали в ладоши.

– Тогда договорились. К Новому году мы и подготовим наше первое представление. Работать начнем с завтрашнего дня.

И началось! Все мы были заняты в новогоднем представлении. Хор разучивал две песни, часть ребят читала стихи, четверо танцоров усердно репетировали танец «Лявониха». Аня и я должны были разыграть сценку на атеистическую тему. Остальные ребята под руководством Кости Шороха и Сани Грибка сооружали подмости, занимались оформлением сцены.

Мы засиживались в школе на репетициях допоздна. Случалось, прибежали матери и гнали артистов домой вицею. Но уже никакие угрозы, наказания и запреты не могли помешать подготовке новогоднего представления. Все ребята заранее пригласили своих матерей и отцов, старших братьев и сестер в школу на вечер. А тем, кто отмахивался, говорили:

– Это ж Дмитрий Иванович приглашает поглядеть наш театр.

– А-а-а... Ну, раз Дмитрий Иванович, то придем, поглядим.

И пришли! Мужики, бабы, парни, девки. В пестрых платках, кроличьих шапках, шубейках, поддевах, на ногах – валенки, лапти, боты. Расселись кто где: на полу, на подоконниках, на партах у стен. В бывшую панскую гостиную народу набилось видимо-невидимо.

А мы, артисты, – на подмостках за занавесом – двумя холстинами-рябушками (одна холстина – моя, вторая – Анина). Притихли, поджилки трясутся. Хор прижался к стене, разрисованной Аней лазоревыми розанами. Хористы ждут, когда Дмитрий Иванович даст команду Косте и Сане раскрыть занавес. А пока все мы слушаем, о чем говорит учитель:

– Уважаемые, товарищи-крестьяне! Спасибо всем, кто пришел на наш школьный предновогодний вечер. Спасибо вам, родителям, за ваших ребят. Хорошие дети у вас растут, любят трудиться, стараются грамоту одолеть, хотя некоторым из них учеба дается трудно. Но все они у вас ребятки хорошие, нет ни одного плохого. Вот вы сейчас сами на них посмотрите как бы со стороны и сами убедитесь, что я сказал вам правду.

И тут Костя и Саня раздернули холщовый занавес и люди увидели своих ребятишек, строгих и сосредоточенных, выстроенных в два ряда. Дмитрий Иванович, отойдя в сторонку, чтоб были видны все до единого хориста, взмахнул руками, и ребята запели: «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе...»

Не успели затихнуть дружные хлопки родителей и гостей, как ребята, явно осмелев, грянули вторую песню:

Сижу за решеткой в темнице сырой
Вскормленный в неволе орел молодой...

Лица у ребят строги. Они позабыли о своих лаптях, растоптанных валенках, латаных портках из самотканого полотна, ясно представляя себе грустного орла, что махал крылом на свободе и клевал кровавую пищу. Хор пел вдохновенно.

Кто-то из баб всхлипнул, кто-то из мужиков горько вздохнул и полез в карман за махоркой.

Но вот закончили ребята пение, Дмитрий Иванович опустил руки, поклонился. Народ заплодировал, загудел на все лады: понравилось пение, а счастливые хористы ушли за дверь, что вела в учительскую, и стали ждать: им еще предстояло аккомпанировать танцорам, исполняющим «Лявониху»; музыки нет никакой, а потому под их пение четверо ребят пустятся в пляс. И когда из-за двери учительской послышалось: «А Лявон да Лявониху любил, он ей черевички купил...» – на сцену выскочили танцоры в лаптях, в отцовских и материнских зипунах. Ребята так старались, так топали, приплясывали, что шаткие подмостки только чудом не разваливались.

Под бурные хлопки Костя и Саня закрыли занавес. Зал шумел, веселился, по душе пришла и «Лявониха».

Но вот Дмитрий Иванович объявил, что сейчас ученицами второго класса будет исполнена игровая сценка. Костя и Саня подмигнули нам, держитесь, мол, а у меня душа ушла в пятки. Мальчики развели занавес-рябушки в разные стороны. И вот я одна перед народом, на меня глядят во все глаза. Над моей головой горит керосиновая лампа-десятилинейка. Под ногами шаткие подмостки. В голове шум, все нужные слова вылетели: «Что говорить, что говорить?» Бешено колотится сердце... «Ох, болею я, старуха...», – это Дмитрий Иванович подсказывает и ободряюще кивает головой – мол, не робей. И происходит чудо, память возвращает нужные слова, и от его доброй улыбки становится спокойнее на сердце.

Ох, болею я, старуха,
Не могу в избе прибрать,
Вижу плохо, слышу глухо,
Видно, скоро помирать...

Я горблюсь, трясую головой, изображая древнюю богомольную бабку, голос мой дребезжит. Ворчу и осуждаю, поругивая, барыню, безбожницу, гулену, расфуфыренную в пух и прах. Ее изображает Аня, у нее очень хорошо получается, она вертит над головой зонтиком и все время ехидно спрашивает меня: «А скажи, бабуся, сколько ж тебе лет?»

Взрослые следят за тем, что происходит на сцене, затаили дыхание. Первые наши зрители на первом в нашей жизни театральном представлении.

– Але ж нада гэдак! – подал голос дядька в старой кроличьей ушанке, когда наша сцена подошла к концу. Вот и окончен наш концерт. Все артисты школьной самодеятельности вышли на поклон, с трудом уместились на подмостках, а благодарные зрители хлопали и хлопали в ладоши и расходиться стали только тогда, когда керосиновая лампа под потолком в последний раз мигнула и от нехватки кислорода погасла.

20

Шел уже второй день каникул, а мой отец за мной все не приезжал. «Что случилось? Неужели мои родители решили насовсем отдать меня Атрашкевичам? Дядька Вениамин, поглядывая, как я с заплаканными глазами перебираю за столом фасоль, заговорил:

– Ну чего тебе ехать в это Бабаедово? Там и без тебя едоков навалом. Нам же без тебя скучно станет. Да и тетке Анеле надо помочь то-се, ей без тебя сейчас и жизни нет...

Я молчу, складываю в миску крупные фасолины, белые и рябенькие, дядька Вениамин вздыхает.

– Не приехал твой батька, дак у него дел по горло. Приедет, никуда не денется...

Отец приехал, только случилось это не скоро – в начале весны, когда я уже и ждать перестала и смирилась с мыслью, что родители отдали меня Атрашкевичам насовсем. Он вошел в дом, усталый, давно не бритый и, поздоровавшись, прямо с порога огорошил:

– Покидаю я Бабаедово, перевожу семью в рабочий поселок на реке Ухле, словом, на стекольный завод вертаюсь. Я ж был мастером не из последних. А в деревню в войну переехал, дак... Семейку ж от голода спасал. Да вот который год бьюсь, бьюсь, а толку – пшик!

– От как! – с грустью покачал головой Вениамин и посмотрел на меня так, будто вот-вот заплачет. Мне подумалось: «Худо ему будет без меня! Кто ему капли в глаза закапает так, как это делала я? Кто оторванную пуговицу пришьет, рукавицы поштопает? А кто ему читает сказки, он их любит не меньше детишек. Жалко мне дядю Вениамина.

Он тихий, совестливый и безотказный молчун. И самый добрый. Сколько раз украдкой от Анели и Адама вкладывал в мою сумку-мешочек краюшку хлеба с куском ветчины, такое случалось даже в дни великого поста. Мы с Аней просили у Бога прощения и с огромным удовольствием уплетали эту замечательную еду на большой перемене в школе, поминая добрыми словами дядю Вениамина.

Отец сходил в школу к Дмитрию Ивановичу и взял справку, что я закончила второй класс Кузьминской четырехлетней школы. А когда он вернулся и стал благодарить Атрашкевичей за то, что они меня «пригрели», я побежала прощаться с Дмитрием Ивановичем и ребятами.

Баба Ева позвонила на перемену.

– Покидаешь наше Кузьмино? Ну-ну, раз с семьей едешь. А то нехай бы себе выучилась тут, – сказала она.

Ребята высыпали из класса, окружили меня, стали расспрашивать, куда я еду и почему. Далеко ли эта речка Ухля и стекольный завод? И что на этом заводе делают? Аня обняла меня, светлая слезинка горошинкой покатила по ее упругой румяной щеке. Костя Шорох отвернулся к окну, и ребята не убежали на улицу озорничать, стояли кружком и уже ни о чем не спрашивали, а только молча смотрели на меня, и я поняла по их глазам, что все они сожалеют о моем отъезде.

Дмитрий Иванович взял меня за руку и увел в учительскую, усадил напротив себя на стул.

– Я верю, что ты станешь хорошим человеком. Желаю тебе на новом месте самого доброго. Очень хорошо, что в поселке, куда уедешь с отцом, есть школа-семилетка. Закончишь ее – это уже великое дело, а там иди учиться дальше.

– А я вас, Дмитрий Иванович, буду всегда помнить, потому что вы очень добрый.

– Будь счастлива. И поспеши: тебя ждет отец, он торопится.

Аня Седых, Костя Шорох и Саня Грибок прибежали вслед за мной к Атрашкевичам, Дмитрий Иванович отпустил их с урока проводить меня. Атрашкевичи с трудом усадили их за стол: ребята стеснялись. Перекусив на дороге, мы попрощались с Атрашкевичами, уселись на сани, и конь повез нас знакомой дорогой. Я оглянулась: старики Атрашкевичи, все трое, стояли рядком, сложив на груди руки, большие, изработанные, и смотрели нам вслед...

Мои кузьминские друзья проехали с нами километра два, попросили отца остановиться, придержать коня и, соскочив на обочину дороги, долго махали руками, затем круто повернулись и пошли мимо ельничка в свое родное Кузьмино.

Вот так и ушли они из моей жизни, оставив о себе светлую, щемящую память.

– Жалко тебе, дочка, Кузьмина?

– Жалко...

Он привычно взмахнул кнутом, конь побежал быстрее: домой не из дома. Проворнее завертели и затарахтели колеса. Знает ли безотказная животиная, что через пару дней у него будет новый хозяин – Тялох, отец уже и задаток получил. А Тялох – не отец, уж если замахнет кнутом, то ударит, не пожалеет. Видела я, как Тялох безжалостно бил своего коня, когда телега с дровами завязла в грязи. Вот так же будет бить и нашего. Жалко коня, жалко отца. Он задумался. Как же мой папка постарел, четче обозначились скулы, глаза запали, седая щетина топорщится стерней на его лице. Поняла я: одолевают отца невеселые думы. Как-то все устроится на новом месте, повезет ли с жильем, работой? Да дал бы Бог благополучно довести семью до поселка...

Через два года на стекольный завод приехал бабаедовский Бронька Вольгин. Он рассказал нам все деревенские новости. Отец спросил:

– Ну а про Атрашкевичей из Кузьмина что слышать?

– А худо слышать. Раскулачили их, забрали у них дом и все остальное – скот, хлеб, одежду. Все подчистую. А их самих с малыми узелками посадили в казенную телегу и увезли, кто знает куда...

Мама сцепила на груди руки, с болью в голосе спросила:

– Господи! За что же их, таких трудяг, таких старых?

Сама смотрит на Броньку, ждет, надеясь, что Бронька ответит: он же должен знать, раз комсомолец. Но Бронька, потупив глаза, молчал: он больше ничего не знал про стариков Атрашкевичей. Увезли на казенной телеге с малыми узелками – вот и все!

Часть II

Незабудки, незабудки...

*«Незабудочку сорвала,
Слеза капнула на грудь.
Я вздохнула и сказала:
«Милый Ваня, не забудь!»*

Он бы не забыл, но его нет – умер от голода. И девчонка – в чем душа держится, опускает охалку незабудок на горячий песок под сосной.

1

Казалось, что Ухля ниоткуда не вытекает и никуда не впадает и что появилась она чудом: пала серебряным поясом на торфяные перины да так и застыла в сонной дреме, объятая шальным разнотравьем.

Берега Ухли щедро украшены незабудками, и мы, поселковые девчонки, охалками таскали в свои дома эти милые голубые цветочки, ставили их в глиняные миски с водой, и цветы, долго не увядая, украшали наши скромные горницы.

И венки мы плели из незабудок, когда в воскресные погожие дни собирались на берегу Ухли. Один венок – на голову, второй – на воду: «Плыви, мой венок, к суженому-ряженому, принцу заморскому...». Но не тут-то было: наши венки не желали уплыть ни к каким заморским принцам, а прибывались к берегу и оказывались у наших босых ног. Но это несколько нас не огорчало, мы тут же о венках забывали и, уютно устроившись на разостланном покрывале, принимались вязать кружева из белых катушечных ниток. Свою работу сопровождали пением. Мальчишки, наши одноклассники, кричали нам с противоположного берега:

– Эй, девчонки! Что разорались во всю мочь, рыбу пугаете!

– Ничего, ничего, девчонки, пойте! Пусть погорланят, нашлись запрещащички... – усмехалась самая старшая из нас, Ванда.

– Эй вы, рыболовы, – кричала она громко, – не нравятся наши песни, уходите подальше со своими удочками.

В руках у Ванды вязальный металлический крючок мелькал так быстро, что в глазах рябило. Ванда – рукодельница замечательная, а мы все – так себе, но все же и у нас получались немудреные кружавчики и прошвы, и нам было приятно сознавать, что и мы не лыком шиты.

– Зина! Давай-ка для затравки парочку частушек про любовь, – просит Ванда.

И Зина, самая озорная девчонка в поселке, будто только того и ждала: поведет изогнутой бровью, отбросит за спину темную косу и звонко запоет:

Незабудочку сорвала,
Слеза капнула на грудь,
Ох, я вздохнула и сказала:
«Ваня, милый, не забудь!»

Как только Зина Майорова начинала петь частушки, парнишки поднимали настоящий бунт и не просили по-хорошему, а требовали, чтоб утихомирилась Зинка-корзинка, а не то...

– Вот визжит, вот визжит! От такого визга рыба не то что разбежится, а начнет дохнуть! – кричали рыболовы.

– Если Зинка не утихнет, то учиним расправу.

Но их угроз мы не боялись и пели с наслаждением и про Стеньку Разина, и про Марусю, что отравилась, и про коногону с разбитой головой. Мальчишки все реже выказывали свое недовольство и затихали совсем, когда Клавка Кожура брала в руки гитару. Она касалась струн и низким красивым голосом «под цыганку» начинала петь свою любимую:

Бедная девица, что тебя бросило
В бурные волны реки,
Горе ль тебя к этой смерти подвинуло,
Люди ль тебя довели?

Закончив эту песню, Клавка пела уже другие цыганские романсы, а мы слушали и завидовали: надо же так петь, настоящая цыганка! И на противоположном берегу воцарялась тишина. Рыболовы замолкали, только время от времени молниями мелькали рыбешки, попавшие на крючок и выхваченные из воды удильщиками.

В удачные дни мальчишки приносили своим матерям увесистые куканы рыбы, и тогда до полуночи гулял по поселку приятный запах свежей ухи. Но по воскресеньям, как правило, часть улова шла в артельный котел. И тут уж рыбакам без нас, девчонок, не обойтись. Они переправлялись на наш берег и небрежно бросали к нашим ногам немало рыбы, сверху швыряли пару карманных ножей. К этому моменту у нас уже вовсю пылал костер. У огня стояло закопченное ведро с водой, рядом в холодке лежало все, что положено для ухи: картошка, лук, лавровый лист и перец, и обязательно хлеб – один, иногда два каравая.

Это был настоящий хлеб, испеченный нашими матерями в русских печах, ароматный и вкусный, пышный и румяный... Такой хлеб грезился нам долгими днями, снился по ночам, когда навалился на наш народ страшной бедой убийца-голод. Гадали люди, думали, кто ж такое злодейство утворил? Кто так похозяйствовал на погибель людскую? И кому ответ держать за миллионы погубленных жизней?

Последний наш пир на берегу Ухли с хлебом и песнями был в конце августа 1930 года. А через год всех нас, еще зеленых подростков, разогнал голод. Кого куда! Одни нашли последний приют на погосте, другие отправились колесить по стране в смрадных вшивых вагонах в поисках чуда – сытых уголков. Все в нашей жизни спуталось, поломалось. Рухнули радужные планы. А как мало хотелось нам: жить в родном поселке, работать на нашем стеклозаводе. И родители тут же, что еще надо? И никакие заморские принцы нам не нужны. Наши принцы были рядом. Каждый из них еще в школе выбрал себе принцессу, ревниво оберегал ее, тайно подбрасывал записочки... Будущее казалось таким надежным: любовь, семья, работа. Зачем, зачем же грянула такая лютая беда, такое лихо? И не было спасения от него, не было! А потому над серебряным поясом Ухли, над роскошными зарослями голубых незабудок потянуло смрадным запахом смерти.

Подметили в народе, что одна беда не ходит. Творило черное кровавое буйство и другое лихо. Часто так бывало, ворвутся в дом, избу, барачную конуру глухой ночью чужие люди, поднимут онемевших от страха хозяев с постели и, отшвырнув детей, с плачем прильнувших к родителям, уведут кормильцев в неизвестность, навсегда, на веки вечные. Исчезали отцы, матери, братья, сестры, юные сыновья и дочери... За что их хватили по ночам, за что жизни лишали, детей сиротили? Кто же и когда и за это злодейство ответ держать будет?! Кто и когда?

2

Заросло травой кострище, где мы недавно, счастливые, варили уху и пели песни. И строили планы на будущее, мечтали, не чуя беды. Выловили в Ухле рыбешку, будто сквозь сито процедили реку. Опустели берега. Ни души! Только одна я каждое утро бегаю вдоль сонной воды узкой тропкой, проложенной рабочими торфоразработок. И не по доброй воле и охоте – дело гонит: ношу брату Сашке обед. Бегу быстро, чтоб не остыла пшенная похлебка. В узелке, который несу, кроме крынки с похлебкой кусок хлеба с мою ладошку. Хлеб черный, вязкий, кислый, но все же – хлеб! И мне никак не отделаться от этого хлебного запаха. Он, этот запах, до того хорош, что нет сил: сосет под ложечкой и кружится голова. Только бы не зацепиться за кочку, не упасть, не уронить бы узелок с крынкой. Бегу, бегу и пытаюсь обмануть себя, как-нибудь заглушить чувство голода. Глубоко вдыхаю запахи трав и цветов, но к своей досаде не слышу этих медвяных ароматов: пахнет хлебом!

Мой брат Сашка – рабочий, добывает топливо для стеклозавода. В бумажке из сельсовета прибавил себе два года и стал не четырнадцати, а шестнадцатилетним парнем, что и надо было, чтоб устроиться на торфозавод. И теперь ему, рабочему, полагался повышенный паек: восемьсот граммов хлеба, сто пятьдесят граммов пшенной крупы и тридцать граммов растительного масла. Все это выдавалось каждодневно на торфоразработках в конторке прорабом и по совместительству завхозом дядей Васей. Он точно взвешивал эти продукты – ни полграмма меньше, ни полграмма больше – будто это были не куски хлеба, крупа и постное масло, а самое опасное лекарство.



Сашкин паек – немыслимое богатство по тем голодным временам. Он приносил его вечером после работы и вручал маме. И если бы все это добро ему одному, то-то жил бы он баринком, но... Не получалось так, дома семья, иждивенцы. Иждивенцам полагалось только сто пятьдесят граммов этого горе-хлеба на день, и все, и больше ничего. Только хлеб, малый квадратик, испеченный Бог знает из чего. Но и такой хлеб был дорогим и желанным благом.

Отец получал рабочий паек: четыреста граммов хлеба на день. К хлебным выдавали еще и другие продуктовые карточки. В аккуратных квадратиках было напечатано: «сахар», «жиры», «крупа», но никаких жиров, сахара, круп в наш поселковый магазин не привозили и карточки не отоваривались. А за хлебом надо было ежедневно отстаивать длинную очередь. Это было моей обязанностью.

Первым сдал отец, он ослабел, оставил свой станок у печи с раскаленным стеклом и перешел на работу в шорную мастерскую при заводе. Десять заводских лошадей отвозили изделия стеклозавода на железнодорожную станцию летом на телегах, зимой на санях. Известно, если лошади все время в дороге, сбруи на них не напасешься. Только успевай, шорник, чинить да латать.

В прошлом знаменитый садовник, стал отец мастером-стеклодувом высокого класса. Не «сидел» на банках, бутылках, стаканах – его работой любовались, выставляли в директорском кабинете напоказ. Кувшины, вазы для цветов, удивительные конфетницы и разные иные диковинки поражали причудливой формой, красотой. Мог отец сделать из стекла и прозрачную лебединую стаю, взлетающую с зеркального озера, а то и грибную семейку под разлапистой хрустальной елью... Работая в шорной мастерской, он страшно тосковал по стеклу, по ночам мучился от бессонницы, вздыхал.

– Ну, что ты себя изводишь? Сидишь спокойно, чинишь хомуты с постромками – работа эта сейчас аккурат по твоим силам. Вон молодые мужики и те у печи за верстаками не выдюживают без еды, а ты ж человек в годах, – утешала его мама, как могла.

Отец не сдавался:

– От этих хомутов моя душа в дохлую лягушку обернулась, мрет, а все одно – болит! Будто живая, болит. Чую я, Анюта, скоро выскочит из меня эта моя болючая душа и полетит в таргарары.

– Если душа уже дохлая лягушка, так как же ей выскочить... – сказала мама отцу и тут же пожалела, что вырвалось неловкое словцо.

– От ты, баба, позубоскалишь, когда останешься одна горе мыкать. А мне что, мне будет добро: и никаких забот! И вочи мои не будут видеть того, что кругом вытворяется.

– Ну а я, а дети, что с нами без тебя будет?

– Дети, даст Бог, выживут. Ты, Анюта, не дашь им загинуть. Я ж не дал пропасть твоим четверем в гражданскую, теперь ты одна сбережешь наших с тобой четверех.

– Умирать собрался! – и мама заплакала. Мне было жалко родителей. Мама, втянув голову в плечи, ушла. Захотелось за ней убежать, утешить, но взглянула на отца, на его давно небритое лицо с глубокими морщинами, ввалившиеся глаза, прикрытые веками, будто подкрашенными синькой.

Я устроилась рядом и сидела, поглаживая кисть его усталой руки, пока он не уснул.

Спохватилась, где же мама? Побежала ее разыскивать. Она в сенях крошила крапиву для похлебки. Глаза заплаканные. Я обняла ее:

– Не горюй, мамочка. Вот собираю и засушу грибов, ягод, разных кореньев. Насолим на зиму головок клевера, крапивы, заячьей капусты. А если еще вырастет картошка из тех очистков с глазками, которые ты посадила... Не горюй, мамочка, не горюй, выживем!

– Ой, горе вы мое, горе! Не на радость, не для счастья я вас родила. Что же ждет вас всех, дети вы мои, дети, что же вас ждет?

От рабочего поселка до торфоразработок около трех километров, но мне всякий раз казалось, что больше, может, все пять. Бегу, бегу со своим узелком и с нетерпением жду, когда станет слышен грохот «адской машины», что перемальвует торф. Маслянистое черное месиво змеем выползает из пасти этого железного агрегата и скользит по конвейеру-желобу вниз, где стоит мой брат Сашка с огромным ножом-секачом и рубит торф на кирпичи. Его напарник, высокий и тощий, как колос ржи в засуху, подхватывает эти смрадные блоки и укладывает решеткой для просушки.

Сашкиного напарника зовут Костя Канарейкин, но чаще его называют Колосом. И прозвали Канарейкина так не только за высокий рост и тощую фигуру, но еще и за волосы, торчащие на его голове в разные стороны ячменными остяками. Волосы у Кости совершенно белые не столько от природы, сколько от того, что выбелили их солнце, дожди и болотные туманы.

Стоило мне с узелком приблизиться к этому грохочущему торфяному агрегату, как Колос первым, будто ждал моего появления, пересиливая грохот, кричал:

– Санька-а! Вон уже ветром несет по болоту твою сеструху. И как ее, этакую, в Ухлю не сдует, как соломинку?

Он еще издали, грязный с головы до ног, будто нарочно вывалился в торфяной жиже, отвешивал мне поклон до земли.

– Колос! Будет тебе дурачиться! – одергивал его Сашка. – Шевелись проворнее, завал накопишь.

Колос шевелился, и мой брат Сашка тоже. Он, как автомат, рубил торф. Таким каторжным трудом эти еще зеленые, неокрепшие парнишки добывали себе кусок хлеба. Каждый раз, когда я видела их, хотелось плакать.

На торфоразработки я прибегала минут за двадцать до обеденного перерыва. Примостившись где-нибудь в сторонке, думала: «Скорее бы пришел вызов из Минска в ФЗО, скорее бы уехать! А вдруг не вызовут, не примут на учебу? Тогда как? Боюсь голодной зимы. Сашкина работа на торфе с холодами кончится. Что станет с нами, с отцом и матерью, с братьями?» Я отделялась от своих горьких дум только тогда, когда прораб дядя Вася начинал бить молотком в кусок подвешенного рельса. Сигнал к обеду.

Брат забирал у меня узелок с едой. Он ни о чем не спрашивал, я ничего ему не рассказывала. Устроившись на досках у стены конторки, он быстро съедал обед, а иногда оставлял несколько глотков похлебки в крынке, подходил к Колосу:

– Замори червяка, а то опять растянешься с брусом торфа в руках...

Колос отмахивался от Сашки и уходил подальше, но, случалось, и принимал крынку, чтоб заморить червяка.

Костя Канарейкин появился в нашем поселке года два тому назад, как и другие молодые парни, бежавшие из разоренных деревень. Их всякими правдами и неправдами принимали на работу – на завод, в обоз, на торф, на вывозку песка из карьера. Жили эти рабочие в общежитии, деревянном бараке. Канарейкин упросил кадровика послать его на торф: паек завидный! Первые дни он с трудом выдюживал смену, к концу рабочего дня его шатало, как пьяного, и он, случалось, падал, не выпуская склизкий кирпич торфа из цепких худющих рук. Но зато приходил в барак богач богачом, приносил завидный паек, да только не успевал и оглянуться, как паек исчезал: его крали. А иногда и того хуже: подкараулят в темном длинном коридоре и отберут да еще и пригрозят. Вот и нашел Костик выход – стал съедать свои драгоценные продукты тут же, на торфоразработках. Хлеб макал в постное масло и ел, а крупу сжевывал сырую. А затем ждал следующего вечера, когда закончится рабочий день и он снова получит положенную порцию хлеба, масла и крупы из рук дяди Васи.

Когда-то дядя Вася был веселым жизнелюбом, мог пошутить, потешить людей игрой на балалайке. А уж если человек оказывался в беде, дядя Вася тут как тут – помогал как мог. Вот и теперь, в лихое голодное время, нет-нет да и сунет с утра кусочек хлеба Колосу.

Любили дядю Васю и уважали за честность и доброту; и уж никто не ждал, не гадал, что свалится на этого человека беда такая, что за одну ночь согнет сорокапятилетнего мужика, превратит в седого старика. Учились в медицинском институте два его сына, Борис и Глеб. Он их вырастил один, без жены, рано она у него умерла. Не взял дядя Вася новой хозяйки в дом, всю любовь и заботу только сыновьям своим отдавал. Вырастил хороших парней. И уж сколько было радости и гордости у отца, когда оба они сдали экзамены в медицинский. «Все силенки приложу, а ребяткам помогу закончить учебу...» – говорил он близким ему людям. И положил бы дядя Вася свои силенки на то, чтоб помочь сыновьям закончить институт и стать врачами, да не судьба. На третьем курсе среди белого дня прямо с лекций забрали Бориса и Глеба. А за что забрали, в чем они провинились, никто из их друзей и преподавателей не знал. Дядя Вася понимал, что время лихое для народа наступило, что без причин людей хватают. Он же

знает своих мальчишек: ничего бесчестного они не могли совершить, значит, их схватили ни за что! Где ж они теперь, что с ними? Ведь сыновья для дяди Васи – единственная радость и надежда. Ездил он ездил, пытался узнать о судьбе своих детей, да не тут-то было – глухая стена. А недавно решил еще раз попытать удачи – поехал. Вернулся через два дня – краше в гроб кладут, да с той поры таким и остался, таким жить продолжал.

Кончались короткие минуты перерыва на обед. Вновь включали агрегат, и Сашка шел к своему рабочему участку, к ползущему по желобу маслянистому торфяному змею и рубил его, будто самого лютого врага, махал и махал тяжелым ножом-секачом от зари до зари в бескрайнем царстве болот, заживо съедаемый комарами и разным иным гнусом. И рядом с ним Колос, как маятник: туда-сюда, туда-сюда...

Когда Сашка приходил домой, мама ахала, до того он был изнурен. Она доставала из печи котел теплой воды и поливала из ковша на распухшие руки сына, мыла слипшиеся волосы на его голове, смывала щелоком с его тела жирную торфяную грязь. Накинув на себя чистую рубашку, Сашка опускал ноги в жестяной таз с водой и мгновенно засыпал, а мама опускалась на колени, мыла его ноги и плакала.

Так вот и угасал безрадостный день и наступал такой же. Люди, голодные и обессиленные, засыпали и просыпались в страхе и тревоге еще и потому, что ходили слухи, один другого страшнее. Голод страшен, а неволя – еще большая беда... Ну, а пока такая беда не грянула, надо живому как-то жить и надеяться, авось пронесет, авось и голод не одолеет.

Опять бегу вдоль Ухли, несу Сашке его обед. Бегу тропкой, изученной до последней кочки, смотрю под ноги и вот тебе – препятствие! Сапоги на тропе... Поднимаю глаза и холодею от страха. Стоит незнакомый человек, с виду – леший. Будто он только-только выполз из торфяных болот и стал столбом на моей дороге. Лицо, обросшее щетиной, глаза горят, как у нечистой силы, и вот-вот выкатятся из-под бровей.

– Что у тебя в правой руке? – прохрипел человек-леший. Я молчу.

– Покажь! – он шумно втянул ноздрями воздух и, конечно же почуяв запах хлеба, вцепился в узелок.

– Не отдам! – завизжала я сколько было сил. – Это брату!

– Твой брат ест каждый день, а я уже неделю не ел. А ну отпусти узел добром! – и человек-леший в обшарпанной, некогда фасонистой куртке заломил мою руку так, что от боли слезы брызнули у меня из глаз. Вырвав узелок, он тут же присел на корточки и, запрокинув голову, стал жадно пить похлебку из кринки. Я с ужасом следила за тем, как на жилистой шее грабителя ходит острый кадык: вверх-вниз, вверх-вниз...

Крынка мигом опустела. Хлеб он поднес к носу, глубоко вдохнул его запах, прикрыл глаза, но есть не стал, а спрятал в карман куртки и, как бы очнувшись и вспомнив обо мне, уставился одичалыми рачьими глазами в мое помертвевшее от страха лицо. Я съежилась. Как во сне ощутила: черная торфяная тропа, Ухля с незабудками, заросли пахучих трав – все это качнулось и поплыло перед моими глазами.

– Пошла прочь! И запомни: если кому выкнешь, не жить тебе. Задавлю и в Ухлю закину, там тебе и крышка. Поняла? – услышала я, как из-за глухой стены, голос человека-лешего.

Тут же он нырнул в травы, как в омут, и исчез, будто его вовсе не было, будто мне приснился дурной сон. Еще несколько мгновений стояла я оцепеневшая, но вот, обретя силы, подхватила пустую кринку и платочек, все еще пахнувший хлебом, помчалась домой, к маме.

Что мне угрозы этого грабителя, что его страшные слова: «Задавлю, в Ухлю заброшу!» Он съел Сашкин обед! Как же теперь доработать брату до вечера без еды? Он же будет меня ждать...

Оглушенная бедой, свалившейся на меня, я вбежала в дом. И только тогда разревелась так, что ни мама, ни прибежавшая на мой плач соседка Варька Баранова не могли разобрать ни единого слова, не могли понять, что же произошло. Когда, наконец-то, я смогла внятно все

рассказать, мама закрыла лицо руками, а Варька Баранова взорвалась. Она стучала кулаком в лоб и кричала, что мой обидчик – тот самый враг народа, которому удалось дать стрекача, когда гепеушники везли арестантов в город лесом. В него стреляли, да не попали. Вот он теперь и бродит, бывший начальничек, людей грабит...

– А был в районе шишечка – не подступись, – рассказывала Варька, – за пустяшной справкой к нему находишься, наклоняешься да под дверьми настоишься. А вишь, как оно обернулось... И скажите на милость, что это уж больно много врагов народа объявилось, откуда они берутся? И зачем же они разные козни своему же народу строят? Выходит так, что это они и голод учинили, людей с детишками морят, на нет народ наш изводят. Вот думаю, что им не жилось и не живется, как нормальным людям, почто во враги народа подались? – и, помолчав, решила: – А он, поди, и не знает...

– Ты про кого? – спросила мама.

– Про Сталина – про кого же еще? Ясное дело – не знает! Мы ж ему, как раньше Богу, верили. Так неужто он станет свой же народ морить? За что? Нет, такого не может быть, ни за что не поверю, ни за что! Знаешь, Анюта, – понизила Варька голос до шепота, решили мы, заводские бабы, письмо Сталину писать. Все, все ему опишем, как голодуем, как заводские молоденькие парнишки, что у станков стоят, стекло дуют, с подмостков голодные в обморок падают. Напишем, как из барака каждую неделю мертвенького парнишку выносят да за больницей под сосенками в белый песочек зарывают. А им бы жить да жить – шестнадцать, семнадцать годочков. А мои-то девочки, мои-то родненькие на глазах моих тают, на руках материнских вянут. Глядеть на них – сердце разрывается...

Пока Варька Баранова, плача, изливала свою душу, мама с окаменелым лицом заново собирала еду и, завязав в узелок крынку похлебки с куском хлеба, сказала:

– Неси, дочка. Иди, иди с Богом. Этот бандюга тебя больше не тронет. Он нашкодил, так теперь уберется куда подальше с этих мест. Беги, не бойся. А Сашке пояснишь, почему опоздала. Попросишь дядю Васю, он пяток минут порубает торф вместо Сашки. А то и сама встань, Сашка и поест. А мы уж сегодня обойдемся без еды, не на тяжелой работе...

3

Вскоре Варька Баранова зашла к нам, стала на пороге, прислонясь плечом к косяку, и заговорила:

– Анюта! Ты слыхала, что правительство наше обратилось к народу с просьбой добровольно пожертвовать у кого имеются какие золотые и серебряные вещи – серьги, кольца, браслеты, а может, и деньги царские. Надо нашей стране станки за границей покупать, да буржуи их продают только за золото и серебро. Вишь, какое дело, нам без этих станков не подняться на ноги, а значит, и не едать вволю хлебушка...

– Я, Варя, слыхала про это. Только у нас нет ничего золотого. Мое обручальное колечко и сережки-полумесяцы мы проели еще в гражданскую войну. Правда, есть у старика серебряные часы, называются «Павел Буре», так он заявил, что только с последним дыханием выпустит их из своих рук: больно память для него дорогая. А и ценного у этих часов – серебряные крышки с печатками-медалями. Когда дети были поменьше, пристанут: «Покажи, папка, «Павла Буре», охота на колесики поглядеть». Ну иной раз и достанет он часы из сундука, крышки откроет, сначала первую узорную – за нею циферблат со стрелками, потом и две другие с тылу: за ними колесики, колесики. Детям интересно. А ходить те часы – не ходят. Давно стрелки на одном месте застыли, все старик хотел свозить их в город к часовщику, да недосуг. А теперь не до часов.

– А я, Анюта, решилась. Понесу и сдам на станки прабабкин серебряный браслет. Он тяжелый, не то что крышки от часов. Вот так обмозговала: сдам! Мне его все равно не носить, лежит и лежит...

Мама отложила отцовскую рубашку, к которой пришивала пуговицы, покачала головой:

– Дочки у тебя растут, не жалко отдавать? Все ж память родовая...

– Да как не жалко, вещь серебряная, память прабабкина. По рассказам моего папки, ей этот браслет подарил какой-то знатный барин за ее красоту. – Варька помолчала, вздохнула. – Ну, а с другой стороны, зажмемся мы все, не пособим государству, так, поди, долго нам придется жить вот так, как теперь живем. Сдам браслет. Бог с ним. А вот есть у меня еще золотой крестик с распятием Христа, его мне моя мамочка, умирая, на шею надела, так этот крестик грех сдавать, грех!

Мне захотелось посмотреть на Варькин браслет.

– Тетя Варя, покажите браслет, я только один раз видела браслеты у Сербиянки.

– Ну, погляди, раз не видела, – она вынула из-за пазухи сверточек, подошла к кухонному столу и развернула на нем белый с сиреневой каемочкой носовой платок.

И вот на столе, на этом платочке, лежит Варькиной прабабки браслет, неброско поблескивая причудливыми завитушками, и в них, в завитушках, – русалки с рыбьими хвостами. Смотрю на русалок – дыхание перехватывает, кажется: русалки подмигивают.

– Давай руку! – командует Варвара, и дивный браслет мигом оказался на моем запястье. – Ну-ну, полюбуйся. Руку-то отведи в сторону. Эх-ха, – вздохнула Варька и поморщилась. – Кабы тебе на тело жирку немного да атласное белое платье...

Я стояла с протянутой рукой так, как будто собралась танцевать, и глаз не могла отвести от браслета с русалками.

– Ну, душа-девица, поглядела, померяла – и будет!



Нам браслетов нешивать, с голодухи не подохнуть бы! – Варька сняла с моей руки браслет, завернула его в платочек и, водворив в «сокровенное место», ушла к конторе завода, где принимали людские пожертвования в помощь государству.

Позже Варька Баранова рассказывала:

– Сидит носатый мужик, лысина аж до затылка. Очки огромные, а под их стеклами глаза, будто оловянные шарики. Руку волосатую протянул, буркнул:

«Спасибо, женщина, за помощь стране!» – и бросил, не аккуратно положил, а именно швырнул мой браслетик в деревянный ящик. И вот, выдал квиток. А на что мне его квиток, куда с ним? Ну сдала и сдала. В том деревянном ящичке серебра богато. Посдавали люди, не поскупились. Кто и царские рубли принес, кто и серебряные ложки. А вот в другом ящичке с крышкой, таком аккуратненьком – золотые вещички...

Варька, обхватив колени руками, задумалась.

– Шла я, Анюта, домой из конторы, и все мне эта волосатая рука перед глазами маячила и на душе погано. Пойдет ли добро наше, сданное на большое дело, туда, куда надо? А что, если на нем погреют руки жулики, проходимцы, ворюги, тогда как пережить такое, а? Если наше добро пойдет не на то, чтоб держава наша на крепкие ноги встала, а на пропой мазурикам. И

мой браслетик, который сдала, какой-нибудь гад наденет на белу ручку распоследней шлюхе, а?!

– Зря ты, Варвара, мучаешь себя. Отнесла, сдала, ну и думай, что все будет по правде, по совести.

– Э-э-э, по правде, по совести... Я ж не только за свой браслетик тревожусь, мне его на большое дело не жалко, я и за других: на дело бы пошло наше добро, для лучшей жизни.

– На дело и пойдет! – успокаивала ее мама. – Ты что ж думаешь, начальство наше без царя в голове, так и отдаст людское добро жуликам на распыл?

– Вот ты, Анюта, про правду и совесть помянула, про начальство говоришь. А люди толмачут: что ни начальник, то враг народа. Шепчутся, шушукаются. Говорят, что и большие начальники, и которые поменьше, и разные ихние помощники – враги народа. Их гепеу будто метлой сметает. Был начальник, был человек – и нет его. Так какая ж им вера? А ты – начальство...

– Варька! Это не наше с тобой дело. Ты бы придержала язык, не то как бы не было худа. Время, Варвара, наступило ненастное, кто его разберет – где правда, а где – беда людская. Тебе в какую смену?

– В ночь.

– Вот и выкинь все из головы и выспись перед сменой.

– Ага-ага, пойду, Анюта, – вдруг сразу согласилась Варька и ушла, скрипнув дверью.

Часть III «Торгсин»

*В тоске собака выла на луну:
Скулила, лаяла, визжала.
Ах, глупая дворняжка, ты б лучше в будке тихо
полежала,
Тогда бы волчья стая мимо пробежала.*

*Я первая протянула сердитому отцовские серебряные часы.
Варвара сняла с шеи золотой крестик, зубами перекусила шнурок и
просушила в оконце ладошку с крестиком...*

1

Мужики, что раза три-четыре на неделе возили в городок на железнодорожную станцию стеклянную посуду обозом на лошадях, ошарашили поселковых жителей новостью: в городке открыли магазин, «Торгсином» называется, там продают все, что душе угодно, но только за золото и серебро.

Едва эта молва прокатилась по поселку, к нам вновь прибежала Варька. Она ворвалась в кухню с таким видом, словно о светопреставлении узнала. С порога спросила:

– Слыхали?

– Ты про «Торгсин», – догадалась мама.

– А про что ж еще, про что?

– Ну, что ты так кипятишься? Что он нам, этот «Торгсин»? Не припасли наши отцы и матери золота и серебра – не оставили наследства. Сами, бедняги, бились в нужде всю жизнь, так и нам велели джужить как-нибудь без «Торгсинов».

Но Варвара, напрочь убитая известием о «Торгсине», помотала головой, села на табуретку у кухонного стола, заплакала.

– А я то, дура разнесчастная, отдала за так этакий браслетик, отдала собственными руками черту лысому. А вот и «Торгсин» открыли, берите, бабы, что глянется. А за что теперь брать? Да я бы за свой браслетик сколько бы крупки приволокла, хоть перловки, хоть пшенки. Ведь совсем мой Баранов дошел, почернел. Смену с трудом дотягивает. Я бы ему густого наваристого крупеника под нос... Во, грабители, во придумали.

Варька еще какое-то время всхлипывала, затем ладонью провела по щекам, осушая слезы, и затихла. И долго молчала, принимая нелегкое решение.

– Понесу я завтра в этот проклятый «Торгсин» маманькин золотой крестик, пускай она мне простит тяжкий грех ради девочек моих, ради ихнего отца, Степана Матвеича.

В нашей маленькой кухонке повисла томительная тишина, нарушаемая единственным звуком – сердитым гудением осы, что глупо и настырно билась об оконное стекло. Тяжело поднялся с лавки отец и, поймав осу, выпустил ее в открытую дверь в сени – лети! Но оса через какой-то миг опять оказалась на кухне и опять бьется о то же стекло.

– Вот так и человек! – сказал отец и, ссутулясь, пошел в горницу и вскоре вернулся, присел к столу, поставил перед собой коробочку и открыл крышку. В этой небольшой деревянной коробочке много лет хранились часы «Павел Буре» – дорогая для него память.

В те годы, когда лучше было промолчать, чем сказать лишнее, отец никогда не рассказывал о том, как он пятнадцатилетним парнишкой отправился в Америку на поиски счастья. Поехал с надеждой разыскать в Нью-Йорке своего крестного отца Адама Барейку. По рассказам родственников он знал, что Адам Барейка за пять лет в Америке разбогател и стал важным паном. Но своего крестного парнишка в огромном чужом городе не отыскал, полгода проскитался, голодал и холодал. Дошел до того, что решил покончить жизнь самоубийством, броситься с какого-то знаменитого моста вниз головой. Но судьба сжалилась над искателем счастья: в самый горький момент его жизни – ни раньше, ни позже! – на мосту рядом с ним оказался важный, хорошо одетый человек. Это и был Адам Барейка. Он обратил внимание на подростка, прильнувшего к перилам моста. Барейка понял, что хлопец затеял неладное, а еще, возможно, по затрепанной одежке или по чему иному угадал он, что парнишка – его земляк.

– Цо ты тут робишь, лайдак? – услышал незадачливый хлопец и в то же мгновение почувствовал, как сильная рука схватила его за шиворот и, как котенка, оттащила от перил.

Вот такая получилась встреча крестника с крестным. Адам Барейка не оставил у себя крестника, а отправил его на родину, в Койданово, потому что знал: тот оставил без помощи и поддержки свою маму, старую, больную и беспомощную.

– До дому, до дому, хлопчик, бо ты ест сын, а не злыдень.

Судьба подростка решилась. Крестный оказался человеком добрым: одел своего родича с головы до ног, упаковал чемодан подарков для его старой мамы, вручил билет на пароход. Прощаясь, протянул крестнику часы «Павел Буре», сказав: «На сченстье!»

Эти часы и хранил отец долгие годы, а счастья все не было. Теперь и вовсе пришла такая горькая минута» в его жизни, что хочешь не хочешь, а надо расстаться с «Павлом Буре».

Отец посмотрел на часы в последний раз, подержал их в ладонях и отдал мне.

– Иди, дочка, и ты с Варварой, сдай «Павла Буре» в «Торгсин».

Мы вышли из поселка, когда чуть-чуть забрезжил рассвет. Шли босиком. Остывший за ночь песок охлаждал подошвы ног. Зябко. Тоскливо. Сосет под ложечкой: хочется есть. Впереди двадцать километров песчаной дороги, по обеим ее сторонам сосновый лес попеременно с древними елями да березами.

Сумрачно в лесу, а пташки уже проснулись, поют, перекликаются на все голоса, и нет им никаких дел до людских забот, у них своих полно.

– Ну, что задумалась, душа-девица? – тронула мое плечо Варвара.

Чтоб не молчать, я рассказала ей историю, которая вспомнилась мне. Везла я как-то этой вот дорогой сено с приднепровского луга. Жара стояла невыносимая.

Мы тогда корову держали, вот и запасали сено на зиму. Лошаденка-доходяга, которую выпросили у директора стекольного завода, шла медленно, будто сонная. Слышу – загремело. Подумала: «Идет большая гроза!» И правда, вскоре небо почернело, стали молнии полыхать одна за другой. Гремит так, что мороз по спине. Лошаденка еле тащится. Сажу на возу, еловые колючие лапы то и дело хлещут по лицу. Жутко мне стало, наслушалась рассказов о молниях, что людей убивают. Шепчу молитву: «Господи Боже, спаси, сохрани, помилуй». И тут хлынуло из небесной черноты: ливень! Конь мой как окаменел. Дергаю вожжи, понукаю, а он ни с места. И вот оно – полыхнуло перед глазами таким адским огнем, такой грохот раздался, что я глаза зажмурила, втиснулась в мокрушее сено, вцепилась в осклизлую жердь, и душа моя в пятки ушла. А когда открыла глаза и приподняла голову, увидела: метрах в двадцати, а может, и меньше, у самой дороги, как огромная свечка, горит белая высокая береза, с треском пылает, и вокруг этого пламени носится какая-то пташка, видно, гнездо ее с птенцами в огне погибало...

– А узнаешь эту березу? – поинтересовалась Варвара.

– Как не узнать, во-о-он она, у самой дороги. Место памятное.

Мы поравнялись с обугленным пнем и увидели, что у самой земли пробился и окреп молоденький стройный росточек.

– Надо же! – вздохнула Варька. – Березка, умирая, дала жизнь своей доченьке: живи, мол, красуйся под солнцем.

Идем, думаем.

– Ты часы хорошо запрятала? – поинтересовалась Варька.

– Хорошо, они у меня в платке зашиты, вот в этом, каким я подпоясалась.

– Ну и ладно, раз так. А то мало ли чего... Этот вражина, что у тебя Сашкин обед сожрал, может запросто по лесу шастать, подкарауливать, чтоб грабануть кого. Он теперь человек пропащий, волк затравленный. Такой-то на все решится. Я вот складничок прихватила, думаю, если что, так и я...

От ее слов стало жутковато. Лес показался еще сумрачнее и таинственнее. Пооглядывались и бредом дальше молча. Варька Баранова, тяжело ступая по белому песку, идет медленно, низко опустив голову, я – за ней шаг в шаг.

– Тетя Варя, а о чем вы задумались? Расскажите что-нибудь интересное про себя, – попросила я.

– А ничего интересного в моей жизни не было. С малых лет с мачехой жила, уж чего тут интересного да хорошего. Била она меня, окаянная, есть не давала. Помню, один раз крепко избил за то, что не отдала ей крестик, маманькой подаренный. Говорит мне: «Отдай, Варька, крестик, а отцу скажешь, что потеряла. А я тебе за него новое сатиновое платье сошью...». Я стала плакать, пригрозила, что отцу пожалуюсь. Вот тут-то она на меня и накинулась. Уж как она своими ручищами хлестала меня по лицу, по голове, ногами пинала.

Я вспомнила браслет с русалками, спросила:

– А браслет, как же она его не забрала?

– А браслет, душа-девица, был у тетки, папкиной сестры. Тетка мне его уже на моей свадьбе подарила, вот мачеха этот браслетик и не могла к рукам прибрать. Ох и змея подколотная! Я от нее готова была в омут броситься. Может, и бросилась бы, да судьба надо мной сжалилась: подвернулся парнишка, посватался. В шестнадцать годочков я вышла замуж за моего Степу Баранова.

Варька вскинула голову, будто приглашая лес выслушать ее наболевшее, и низким голосом с хрипотцой запела:

Ой, не по шелку, не по бархату хожу,
А я хожу, хожу, хожу, ой-да по острому ножу...

Оборвав пение, обняла меня за плечи и душевно посоветовала:

– Не выходи рано замуж, не спеши! Ой не спеши, душа-девица.

И опять мы молчим, опять скрипит песок под нашими ногами. Варька махнула рукой.

– Ничегошеньки интересного в моей жизни не было, а теперь вот и вовсе погибель навалилась. Девчоночек моих жалко. Уходила, а младшенькая запоносила. Думаю, а если дизентерия? А Степа в первой смене. Как они там, две несмышленные? Ай, до чего ж худо на душе, до чего погано.

Сухо шуршит песок. Тяжело идти. Устали. Голодно, сосет под ложечкой. Крохотные квадратики хлеба, взятые в дорогу, мы давно сжевали. И в лесу еще нет никаких ягод – рано.

– Нам бы с тобой поскорее управиться да с заводскими подводами вернуться домой. Возчики на «железке» часам к четырем пополудни посуду сдадут, вот нам бы успеть да и укатить с порожняком обратно, – сказала Варька.

Над лесом поднялось солнце. Стало совсем светло. Набежал ветерок. Зашумели сосны. Варька оглянулась, чтоб удостовериться, нет ли поблизости каких случайных «глаз и ушей» и, понизив голос, почти шепотом поведала:

– Письмо Сталину несу, надо сдать на почте заказным. Вот такие дела, душа-девица. Если б ты видела, как мы его писали: в каждой буковке, в каждой строчке боль наша, горе и слезы. Легко ли писать письмо матерям, у которых дети от голода умирают... Как притопаем в город, первым делом на почту зайдем. Отправлю письмо, долг свой перед бабами выполню, а там как Бог даст.

Варька устало прислонилась к высокой сосне, к ее одуряюще пахнущему стволу.

– А только вот про что все думаю. Рассказывают люди, что пишут Сталину со всех концов нашего государства большого, просят помощи, защиты, справедливости, да только все эти письма не допускают до Сталина, нет им пути-дороги в Кремль. Цепными собаками встали враги народа у Кремлевских ворот, изничтожают наши конвертики с болью нашей и горячими слезами, с муками человеческими. На кострах горят мешки с нашими письмами. Как ты думаешь, правда это?

– Не знаю, тетя Варя. Может, и так, раз нет на письма людям ответа.

– Может, и так... Но я все ж попытаю удачи, а вдруг сжалится над нами судьба.

Заказное письмо на имя Иосифа Виссарионовича Сталина Варвара сдала на почте, квитанцию бережно сложила, завернула в платочек, тот самый, с сиреновой каемочкой, в который браслет пеленала, и спрятала в нагрудный карман черной куртки из чертовой кожи.

– Ну вот, слава Богу, выполнила поручение баб. Что-то теперь будет? – кто знает, кому задала Варька трудный вопрос и задумалась. Идет впереди, ссутулившись, я за ней на поиски «Торгсина».

Это оказалась обыкновенная лавка, только просторная, не иначе как бывший склад приспособили. В правом углу, как зайдешь, отгороженный крохотный закуток с оконцем. В этом закутке сидел человек, худой, костистый и сердитый. Нам подсказали, что сперва надо к нему с нашим добром. Я первая протянула сердитому отцовские часы. Взял он их, покачал головой, попробовал завести, приложил к уху, вздохнул. Затем, подскочив на месте, будто ужаленный, мгновенно открыл крышки острыми щипчиками-кусачками, отщелкнул их. Упав на стол, крышки жалобно звякнули, ударившись одна о другую, тоненько пропели свою лебединую песню – дзи-и-нь. И этот звук помимо моего желания застрял во мне и очень долго не исчезал. А сердитый дядька протянул в окошечко то, что осталось от часов и буркнул: «Сохрани на память...»

Взвесив крышки на миниатюрных весах, приемщик выписал квитанцию, сунул мне в руку и скомандовал:

– Иди отоваривайся!

Я подождала Варвару. Она сняла с шеи крестик, зубами перекусила шнурок и просунула в оконце ладошку с крестиком.

За наши бумажки-квитанции полагалось так мало, что мы совсем пали духом. Три сытые, рослые продавщицы посмотрели на нас слюдяными глазами и ровным голосом объявили: «Тебе (это мне) – два килограмма крупы или два килограмма муки... А тебе (это Варваре) – три килограмма крупы или столько же муки...». А нам бы надо побольше за наше добро. Ну что, это за навар для давно голодающих семей? А может, продавцы нас обманывают? Вон как разъелись, кобылы, люди от голода умирают, а они с жиру лопаются. Не на свои же хлебные карточки такие рыла нарастили... И что нам лучше взять – крупу или муку? А может, того и другого поровну? Стоим у прилавка, думаем, а на нас выжидательно глядят три дородные хозяйки «Торгсина», будто ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой... И тут мы обратили внимание: в уголке лавки, в самом дальнем углу у узкого окошка с железной решеткой, стоят несколько женщин. Они явно чего-то поджидали. Подошли к ним. Варвара разговори-лась с одной из них и узнала, что ждут женщины отруби. Так вот, по нашим бумажкам-квитанциям можно будет получить мне десять, а Варваре пятнадцать килограммов отрубей, в них

и мучицы наберется. Если отруби смешать с крапивой да клеверными головками, то много лепешек можно напечь из пятнадцати килограммов. Решили и мы дожидаться привоза отрубей.

– Да привезти-то их привезли! А вот почему не отпускают? Спрашивали у этих гадин – не говорят. Только все в склад по очереди ныряют. У, холеры бессовестные! – довольно громко сказала одна из женщин, худящая, щеки ее полыхали нездоровым румянцем, черные глаза лихорадочно блестели.

– Тихо ты, Фрося! – остерегла подругу женщина с желтым бескровным лицом и беспокойно заглядывалась, будто услышала страшную крамолу.

«Гадины» промариновали нас еще около часа и, наконец-то, открыли дверцу в склад, где было сумрачно, как в предрассветном лесу. Продавщицы начали быстро насыпать совками отруби в наши торбешки и взвешивать их на больших весах. Варваре взвесили около пуда, мне – на пять килограммов меньше. Варвара помогла мне надеть котомку на плечи, я – ей. Мы уже не надеялись ни на какой порожняк с «железки». День клонился к вечеру, и мы поспешили в обратный путь на своих двоих. Перешли мост через Днепр, а затем и деревянный настил через заливные луга, заросшие осокой. Вышли на дорогу. С большим напряжением вытаскивая совсем непослушные, будто свинцом набрякшие ноги из песка, наконец, дотащились до опушки леса.

Теперь идти нам лесом и лесом до самого поселка.

– Давай, душа-девица, пожую отрубей, а то нет больше никаких сил! – предложила Варвара и свернула с дороги на крохотную полянку.

Мы освободились от своих нош, развязали тесемки на наших торбешках и только теперь, на свету, увидели, что наши отруби – чистейшая шелуха, скорлупки, в них нет ни пылинки муки. Мы жевали и жевали эти жесткие оболочки от пшеничных зерен, они царапали язык, небо, эту шершавую шелуху невозможно было проглотить.

– Господи! За что ты нас так, за какие грехи? Эти гадины проклятушие высеяли отруби до единой мучной пылинки, потому так долго и не отпускали. А мы, голодные, замученные, стояли и ждали, пока эти суки не просеют через решета все отруби. Себе забрали мучицу, а нам за наше добро, от сердца с кровью оторванное, – пустые скорлупки. Что ж теперь делать, с чем домой к голодным деткам идти-и-и?

Варвара свалилась на колени и, не мигая, глядела на далекий горизонт. Губы ее посинели, глаза – будто стеклянные, в них пылал отблеск закатного солнца, и вся она стала похожа на каменную статую с руками, протянутыми в сторону огненного диска, застывшего над кромкой земли. Тяжелый хрип, как у раненой волчицы, вырвался из ее груди, и она отчаянно закричала на пустынной опушке леса:

– Господи-и-и! Да есть ли ты где? Что ж ты смотришь на подлость, творимую человеком над человеком, и не караешь страшным судом зло на земле? За что ж нам жизнь такая? За что? За что? И где ж он, тот Сталин, вождь наш и отец, и как до него достучаться, дотянуться?

Варвара упала на землю, судорожно вцепилась в жесткую траву и долго плакала. Так долго, что я испугалась: а вдруг с ней что-нибудь случится – с ума сойдет или ноги отнимутся, а то и вовсе умрет. Я гладила ее вздрагивающие плечи и шептала, успокаивая; сама не знаю, откуда и как явились нужные слова:

– Тетенька Варенька, не плачьте, не горюйте так. Все переживем, вот увидите – переживем! Придет время, всего у нас будет много – хлеба, молока, сахару, крупы... А эти отруби надо будет высушить в печке покрепче да и истолочь в ступе так, чтоб из них мука получилась, тогда и они пойдут в дело – на похлебки, например. А у нас и ступа есть, мы в ней все сейчас толчем: высушенные коренья, головки клевера, сушеные грибы...

Варька утихла, перестала плакать и долго вытирала головным ситцевым платком заплаканное лицо.

– Эх, вернуться бы в этот распроклятуший «Торгсин» да вцепиться в рожи поганых воругов, выдрать бы ихние зенки бесстыжие, а то и вовсе перегрызть ихние глотки.

– Посадят в тюрьму за это, тетя Варя. Поднимайтесь, пойдем как-нибудь, скоро темнеть начнет.

Мы шли с отрубями на плечах всю ночь. Когда уже совсем не оставалось сил, падали на песок на обочине дороги под сосной и тут же проваливались в бредовое забытье. Чуть отдохнув, пробуждались, приходили в себя, прислушивались – было тихо, очень тихо, зябко и жутковато от одиночества в ночном лесу на пустынной дороге. Мы с трудом заставляли себя подниматься и идти дальше. Песок, в который погружались наши ноги по самую щиколотку, был злом беспощадным: он отнимал у нас последние силы...

Но все, даже самое тяжкое в жизни человека, когда-нибудь кончается. «А как кому на роду написано – так и будет!» – не раз говорила моя бабушка.

Мне и Варваре было написано на роду добраться живыми до поселка. Пришли мы, когда уже рассвело. Варька Баранова поспешила к себе домой, а я к маме. Мама освободила мои онемевшие плечи от торбы с отрубями, и я, не чуя ног, дотянулась до топчана в сенях и свалилась на него, не в силах больше ни о чем думать, слова вымолвить. Последнее, что запомнилось: мама укрыла меня одеялом.

Я спала, не видела, как собралась наша семья у торбешки с отрубями, как, протянув руки, брали мои родные, любимые по шепотке скорлупок и пробовали их жевать. Как, отойдя к столу, отец развернул тряпицу и взял в руки, уложив на ладони, обезображенные часы «Павел Буре», наклонил над ними седую голову и заплакал, как плачет ребенок над любимой игрушкой, не им сломанной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.